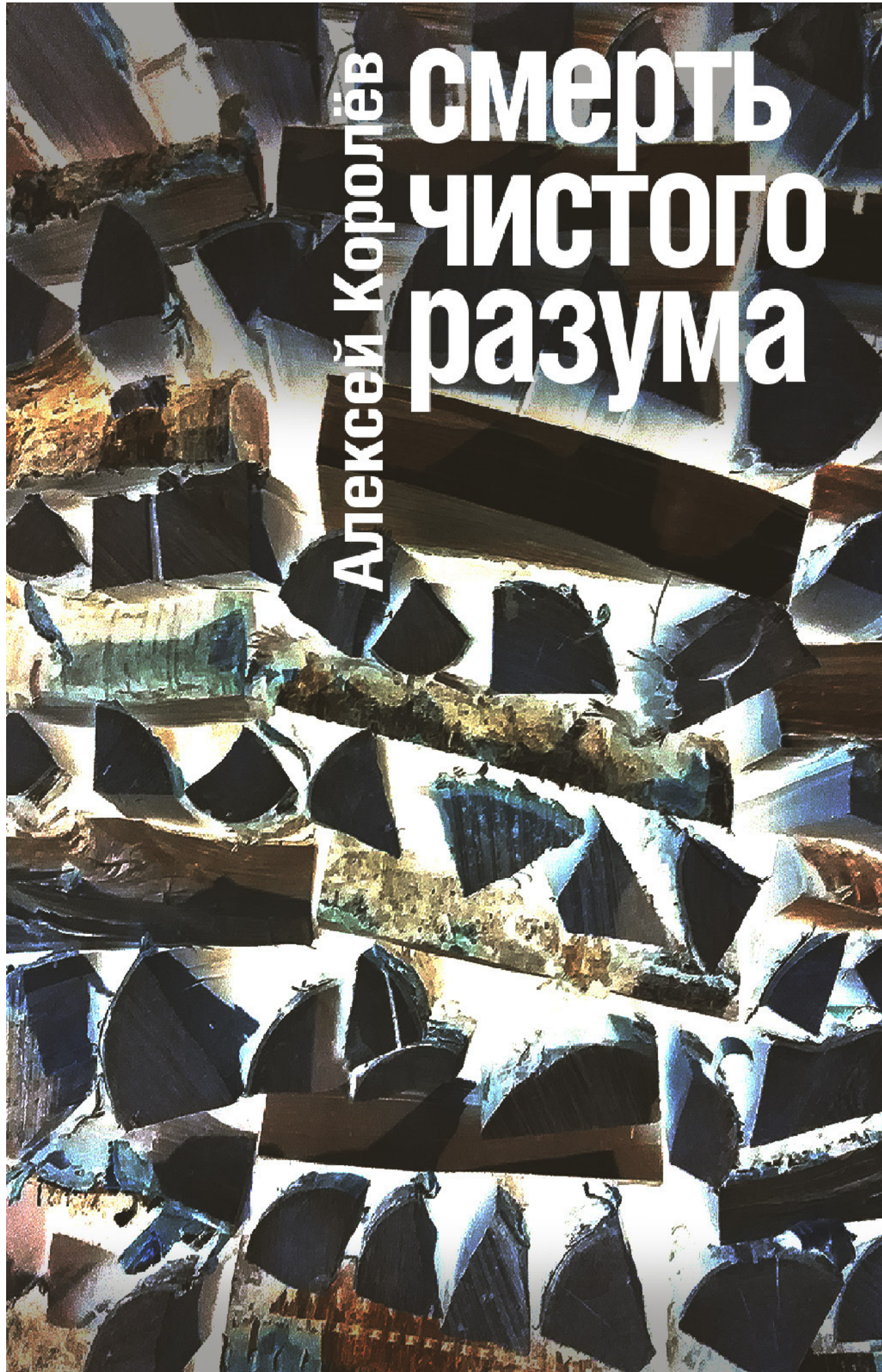


Алексей Королёв

СМЕРТЬ ЧИСТОГО РАЗУМА



Алексей Королев

Смерть чистого разума

«ЭКСМО»

Королев А.

Смерть чистого разума / А. Королев — «Эксмо»,

ISBN 978-5-04-158254-8

Август 1908 года. В тихой, швейцарской деревушке Вер л'Эглиз, где находится санаторий по лечению нервных болезней, происходит загадочное убийство, за расследование которого берется, большевик Степан Сергеевич Маркевич и инспектор полиции Целебан. Небольшая, но пестрая компания русских пациентов лечебницы не помогает, а ещё больше запутывает следствие, в особенности, когда становится понятно, что все они странным образом связаны с революционным движением в России и Лениным...

ISBN 978-5-04-158254-8

© Королев А.

© Эксмо

Содержание

Дикси	6
I. Стрела	9
1. Круг чтения старшего цензора Мардарьева	9
2. О чём говорили в поезде Женева – Эгль вечером 31 июля 1908 года	13
3. Из дневника Степана Маркевича	17
4. Знатоки умеют вовремя уйти	21
5. Круг чтения старшего цензора Мардарьева	25
6. Присмотрись хорошенько к смене ролей	27
7. Мастер доступен всем людям	33
8. Чьи глаза ещё не открылись	36
9. Сиди долго – достигнешь успеха	41
9. Из дневника Степана Маркевича	45
10. Что ты делаешь! Что ты говоришь	46
11. Из дневника Степана Маркевича	53
12. Золотая рыбка, выскользнувшая из сети	54
13. Круг чтения старшего цензора Мардарьева	56
14. Прикажи сам себе выйти вон	58
15. Из дневника Степана Маркевича	61
II. Ахиллес и черепаха	76
16. Круг чтения старшего цензора Мардарьева	76
17. Одна стрела разбивает три барьера	78
18. Другое увечье	82
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Алексей Королев

Смерть чистого разума

Предупреждение.

По умолчанию герои разговаривают между собой на русском языке, а с местными жителями – на французском. В особых случаях явственно оговорено иное. Даты в зависимости от обстоятельств указываются по старому или по новому стилю. Орфография писем и газетных выдержек современная, пунктуация же соответствует оригиналу. Все эти цитаты, кроме одной – подлинные.

Дикси

Однажды я решил написать о себе роман. Нынче у нас все так делают – отчего же и мне не последовать моде? Впрочем, это, конечно, не мода, а особенное русское развлечение – рассказывать о себе не от первого лица; ну а я, как полукровка и старый эмигрант, болезненно люблю всё национальное. Француз оставляет после себя мемуары, две тысячи страниц никому не интересных воспоминаний о модах, нравах, урожаях и дальних родственниках; англичанин оставляет дневник, в котором скрупулёзно зафиксировано, сколько и что именно он съел и как много за это уплачено. Дневник я вёл всю свою жизнь, с общих классов кадетского корпуса, и о нём пойдёт речь ниже; впрочем, его не то что печатать – читать посторонним людям небезопасно. Мемуары же мои давно лежат мёртвым грузом в издательстве – только я к ним, считай, никакого отношения не имею: некогда один ушлый редактор нашёл не менее ушлого сочинителя, с которым мы провели две недели в прекрасном пансионате «для своих»; я не столько рассказывал, сколько выбраковывал самые уж причудливые фантазии моего так называемого соавтора. Книжка должна была получиться увлекательной, да только не выйдет, вероятно, никогда: сперва арестовали ушлого редактора, а потом дошла очередь и до сочинителя. Дабы эта цепочка неприятных недоразумений не продолжилась, я счёл наиболее разумным о той рукописи никому не напоминать. Нет, как ни крути, ничего нет лучше автобиографического романа, особенно если есть увлекательная история из молодости – а у меня такая история была. Толика чистой правды, умеренно дозированные аллюзии, гран откровенной лжи. Все остальное – упоительная роскошь вымысла. Мы не будем просто придумывать героев, равно как и точно описывать людей реальных – даже исторических. Куда как лучше просто оглядеться вокруг, подмечая нужные черты у родственников, соседей и сослуживцев. Вот N, например, сутол как колодец-журавль, пройдошист, часто нетрезв и неизменно раболепен перед начальством. Он подойдет на роль маленького князя, наследника некогда великой фамилии, ошибочно числящейся в пятой части родословной книги неугасшей. Он чистоплюй и педант, в душе убийца, на людях – мизантроп и композитор-самоучка, неизменно терзающий гостей своим единственным законченным рондо. Он, разумеется, не женат, но близок с NN, своим троюродным племянником, бойким молодым человеком, выпускником Александровского лицея. В нашем романе он, конечно, не будет родственником N, даже, вероятно, не будет с ним знаком и никогда не встретится. Но его черты, его манеры – привычка пить по утрам бархатное пиво, прогуливаться вдоль казарм на Миллионной улице в надежде познакомиться с очумевшим от Петербурга рядовым первого года службы, вставлять в речь итальянские словечки, хотя итальянского языка он и не знает – всё, всё это может пригодиться. (Впрочем, весьма вероятно, что ни князя, ни племянника в моем романе так и не окажется, ибо пишу я без плана, куда вынесет – и там, куда вынесет, места для них может и вовсе не оказаться.) Свой истинный внешний облик я, конечно, подарю какому-нибудь второстепенному негодяю, протагониста же срисую со своего товарища детских лет: кожа цвета слоновой кости, белёсые ресницы, веснушки, очки, вечно взъерошенные рыжеватые волосы. Итак, я обойдусь без подлинных фигур (за одним исключением), но ни единого героя не выдумаю просто из головы.

Я всегда был трусом – даже когда мёрз один ночь напролёт в засаде на Институтской в ожидании генерал-губернатора, с плохо собранной бомбой в кармане пальто, даже когда пробирался из Охты в Выборг через казачьи пикеты, притворяясь глухонемым, вытаскивал Мику из деснянской полыни, толком сам ещё не умея плавать. Множество исторических личностей разного калибра и пошиба, встреченных мною на жизненном пути, уже не представляют никакой опасности, ибо пребывают в тех предвечных областях, куда скоро предстоит отправиться и мне. Но многие ещё живы и здравствуют и хотя вероятность прочтения ими моего романа мой математически небрежный ум оценивает как ничтожную, всё же я поостерегусь. Тем более

что мой современник, а равно и думающий историк не испытает при расшифровке прототипов действующих лиц ни малейших затруднений.

Вот с такими настроениями и сел я несколько месяцев (лет, неважно) назад за письменный стол, знаменитый тем, что однажды – задолго, впрочем, до того, как он поселился в моем кабинете, – прямо на нем народную артистку республики... останавливаюсь и умолкаю.

Боги мои, Маркс и Сен-Симон, Бакунин и Достоевский! Как же быстро писал я сперва, каким точным в воспоминаниях и корректным в оценках я был! С утра, ещё до завтрака – да что и завтрак, так, чай, похожий на аптекарский отвар, два ломтя серого хлеба, совсем редко солёное масло или сыр, и никогда и то и другое одновременно – ещё до завтрака девять, десять, когда и двенадцать страниц. У меня убористый почерк и очень чёткий, даже сейчас, на пороге семидесятилетия. Если центральное отопление работает как следует, то в моих комнатах очень уютно. Я почти не вставал с кресла к своим карточкам, на которых я с давних времён имею обыкновение делать интересующие меня выписки, карточкам, разбросанным с угнетающей меня моей небрежностью на бюро, конторке, диване и обоих креслах – и уж точно никогда не вставал к библиотеке. Всё, что мне было нужно, я держал у себя в голове – и впоследствии, вычитывая рукопись и сверяясь с источниками, понял, что ни разу не ошибся. И после обеда и дневного сна, такого же короткого и бедного, как обед – ещё пятнадцать, двадцать, когда и двадцать пять страниц.

...Быстро же мне всё это наскучило. Таинственные убийства, гнусные предательства, espionage, Корвин, Ленин, все эти давно ушедшие и, в сущности, никому не нужные тени. Дело, на стадии замысла поражавшее меня своим мрачным величием, с лёгкостью поместилось в трёх нетолстых тетрадах в четвертку и стало выглядеть просто забавным историческим анекдотом, к тому же не слишком правдоподобным. Стоило изводить себя на протяжении нескольких недель, чтобы получить на выходе не более чем детективную повесть, которую может сочинить любой.

За окном моего особняка стояла тогда отвратительная ноябрьская морось. Бог без штанов, как говорят ныне москвичи, демонстрируя, как им кажется, весёлую атеистическую дерзость, на деле же проявляя втуне ту настоящую богобоязнь, которая так выгодно отличается от напускной протестантской набожности с её комическими попытками разговаривать с провидением на равных. В комнатах было прохладно и я решил растопить печь. Дрова, мелко наколотые (я обожаю это занятие) всегда лежат аккуратной вязанкой в прихожей (или как теперь почему-то стали говорить, в «коридоре»), а вот растопки не оказалось. В доме, где бумаги больше, чем на картонажной фабрике, не оказалось ни клочка лишней. Я помнил, что когда-то складывал ненужные газеты, случайно попавшие в дом («Советский спорт», «Красный флот» и тому подобная белиберда) на маленькую антресоль в кладовке, и полез за ними. В кладовке было темно, я нащупал стопку пыльных хрустящих листов и неосторожно потянул на себя.

На меня посыпались папки, десятки папок, рыжеватых, дореволюционных – и вполне советских, которые делаются из гораздо более светлого картона, если вы замечали. Всё моё убогое богатство, сбережённое в странствиях и неизвестно зачем вывезенное на Родину. Газетные вырезки, старые счета, письма от давно забытых корреспондентов, какие-то справки с выцветшими до полной неразборчивости чернилами, фотографии пятидесятилетней давности, рождественские открытки, гранки неизданных брошюр и наконец – стопка перевязанных синих коленкоровых тетрадей – мой дневник. Тот самый, который я вёл с корпусных времён – хотя тех, самых первых, записей давно уж нет.

Я стоял, осыпанный пылью – буквально пылью лет, господи, что за банальность – и держал в руках свои дневники, которые когда-то казались мне спасительным якорем в старости, железным источником разнообразных сведений о прошедшем времени. Бог весть, для чего я мечтал использовать их тогда – написать «Историю русской революции», наверное. Но нынешняя их судьба, конечно, гораздо счастливее – я взял да и выдрал из дневника самые сочные и

интересные куски (ну да, кое-что склеив, но кто в наше время избег соблазна отцензурировать свои юношеские записи из соображений как естественного стыда, так и личной безопасности), вставил их в текст, который уже было жалко бросать, хотя бы из-за объёма написанного. Пригодились тут и некоторые архивные материалы, которые я когда-то разбирал по поручению ЦК, и которые, конечно же, оказались никому не нужны, да и не понадобятся никогда впоследствии.

Всё тут же встало на свои места. Всего через несколько часов я завяжу тесёмки на туго набитой папке – я выбрал, конечно, современную, посветлее – и полностью удовлетворённый собой отправлюсь в ту же кладовку. Заберусь на табуретку и суну папку с романом в середину стопки, которую так удачно опрокинул на себя тогда. Мой роман заживёт своей жизнью – у него, конечно, нет ни единого шанса увидеть свет, но один читатель у него уже был – я, – а это по нынешним временам не так уж и мало.

(Я написал это больше года назад. С тех пор в моей жизни мало что изменилось, разве что ряд обстоятельств заставил меня задуматься о судьбе моего архива в целом. В одну из ночей – ныне всё чаще и чаще бессонных – живо представилось мне, как какой-нибудь потомок, наследник или душеприказчик (надо выяснить, не существует ли здесь института назначаемых наследников), или даже Истпарт (я имею всё же некоторые основания полагать, что мой архив может вызвать у него интерес) начнёт разбирать мои рукописи. И тот самый упомянутый выше вдумчивый историк, зачитавшись, машинально примется украшать всё комментариями и маргиналиями. Нет, отдавать свой труд на потеху толмачам значило бы потратить всё впустую. Поэтому я, во-первых, снабдил текст кое-какими собственными примечаниями, а во-вторых, всё же ещё раз изменил три-четыре имени, показавшиеся мне слишком прозрачными, слишком доступными для понимания и оттого уязвимыми. Теперь же они надёжно зашифрованы. Вряд ли вы узнаете тех, кого я назвал Александром Ивановичем Т., Борисом Георгиевичем Л., Алексеем Исаевичем Ш. и так далее. Теперь это всего лишь имена литературных персонажей. Ну а меня будут звать, допустим, Маркевич, Евгений Васильевич Маркевич. Хотя, нет, Господи, какой «Евгений Васильевич». Степан Сергеевич Маркевич.)

I. Стрела

1. Круг чтения старшего цензора Мардарьева

(Михаила Григорьевича, действительного статского советника и кавалера)

13/VII. 08.

Дорогая Маняша! Сейчас получил твое письмо и приписку Анюты. Очень рад был вестям. Чрезвычайно рад был узнать, что на выход осенью есть надежда. Но на один мой, довольно важный, вопрос твой питерский корреспондент забыл ответить. Именно: нельзя ли мне достать хоть один экземпляр набранной книги, всё равно, сверстаный или не сверстаный. Раз осенью выходит книга, значит, это не невозможно. Я готов дать за один экземпляр теперь же рублей пять и даже десять. Дело в том, что мне крайне необходимо теперь же, именно до осени, познакомить с этой книгой неких лиц, которые не могут читать рукописи. Если я этих лиц до осени не познакомлю с книгой, я во всех отношениях могу многое потерять. Так вот, раз у тебя есть питерский адрес и адресат тебе отвечает и стоит близко ко всему этому, – очень прошу написать ему и попросить, если только есть какая-нибудь возможность, раздобыть мне один экземплярчик, хотя бы «смазав», где следует, пятишной в случае надобности.

Мою работу по философии болезнь моя задержала сильно. Но теперь я почти совсем поправился и напишу книгу непременно. Поработал я много над махистами и думаю, что все их (и «эмпириомонизма» тоже) невыразимые пошлости разобрал.

М. Ив-не пошлю письмо в Париж и дам рекомендацию.

Крепко поцелуй за меня маму. Большой всем привет. Анюте все забывал написать, что 340 р. получил. Пока что деньги мне не нужны. Мите, Марку и Анюте, всем большие приветы.

Твой В. Ульянов

Р. S. Когда будет оказия в Москву, купи мне, пожалуйста, две книги Челпанова

1) «Авенариус и его школа»;

2) «Имманентная философия». Стоят по рублю. Издание «Вопросов Философии и Психологии». Обе книги входят, как выпуски, в серию под названием не то Очерки и исследования, не то просто исследования или монографии и т. п.

Как-то вы отдыхаете летом? У нас хорошая погода. Езжу на велосипеде.купаюсь.

Надя и Е. В. всем шлют большие приветы.

* * *

В Тифлисе серьезно ранен в голову председатель кавказского военно-окружного суда ген. Волков; стрелявший в него скрылся.



2-го июля в воронежской тюрьме арестанты-каторжники, покушаясь на побег, взломали железную решетку и двери камеры, обезоружили и ранили надзирателя, а подоспевшей страже и военному караулу оказали вооруженное сопротивление. При усмирении 4 каторжника убиты, один ранен. У арестантов найдены два браунига и револьвер, отобранный у надзирателя. Спокойствие восстановлено.



В Новочеркасске казнены два человека: Иосифов и Шеповалов.



В Севастополе казнен Литвиченко.



В Одессе казнены два человека: Глинский и Никитин.



В Екатеринославе казнены три человека: Роцин, Скринник и Бестюк.
Право N 28, 13/VII

* * *

Игуменнии Таисии (Солоповой). 11 июля 1908. Устюжна

Дорогая и всечестная Матушка Игумения Таисия!

Благодать, милость Божия и мир да будут с тобою и со всеми сестрами обители; да будут благоуспешны все дела ваши молитвенные и хозяйственные; да будет обилие и довольство в столпостенах ваших, и никакой враг да не озлобит вас. Отдыхаю я в Устюжне вот уже четвёртый день; служу ежедневно, благодарю Господа за каждый день и час. Благодарю и тебя, дорогая Матушка, за твои материнские ласки в обители и на пароходе, за пение сладкое сестер обители.

Прошу тебя извинить меня, что я резко ответил тебе на твою просьбу – благословить иконками матросов парохода. Я ответил раздражительно – по причине утомления и упадка сил и по причине неожиданности неблагоприятной твоей просьбы. Надеюсь, что ты меня простишь. Один Господь ведаёт, сколь велика моя немощь. Кланяюсь доброй казначее твоей Агнии и всем певчим, особенно регентше Серафиме.

Здоровье моё на одной степени. Молодым старику не бывать и два века не жить. – Прости.

Протоиерей *Иоанн Сергиев*.

Лучший способ оздоровления воды без фильтров и кипячения

В N 5 «Воронежских епархиальных ведомостей» под таким заглавием помещена статья, заслуживающая внимания. Некий техник – писатель Б. А. Пучковский – рекомендует самый простой и дешевый способ оздоровления воды без фильтров и кипячения. Средство это старо, как Божий мир, и известно было древним народам; к сожалению, мало кем применяется теперь. *Квасцы* – очищают воду не только от разной мути, но, как показывают химические бактериологические исследования, и от бактерий. Каждый сам себе может очищать воду в вёдрах и графинах. На 10 коп. квасцов (1 ф.) хватит почти на полгода и это предупредит от многих заболеваний.

Архангельские епархиальные ведомости N 13, 15/VII

Происшествия в Виленской губернии за 2-ю половину июня месяца 1908 года

Пожары. В продолжение 2-й половины июня месяца всех пожарных случаев в губернии было – 53, из них произошли: от неосторожного обращения с огнем – 8, от неисправного содержания дымовых труб и печей – 11, от поджога – 4, от громового удара – 1 и от неизвестных причин – 29. Убытка причинено всего на сумму 97 119 руб. 95 к.

Нечаянные смертные случаи. Таких случаев было – 8, в том числе от громового удара – 1.

Убийств – 1.

Утонувших – 2.

Самоубийств – 1.

Скоропостижно умерших – 6.

Детоубийств – 3.

Кражи. Случаев краж было – 12, похищено вещей на сумму 1372 руб. 95 к. и наличных денег 1365 р. 20 к.

Конокрадство. Уведено лошадей в уездах:

– в Лидском – 1;

– в Ошмянском – 3;

– в Вилейском – 3;

– в Дисненском – 2,

а всего 9 лошадей, из коих 2 лошади в Дисненском уезде разысканы и возвращены владельцам.

Виленские губернские ведомости N 56, 16/VII

* * *

15 июля 1908 г. «Пенаты»

Многоуважаемый Николай Владимирович.

При разборе нашелся очень интересный этюд к «Садко». В Париже в 1875 г. мне позировал для него В.М. Васнецов. У банкирши Рафалович была шуба и шапка из чернубурой лисицы на синем бархате, и в этом костюме Виктор Михайлович фигурирует.

В картине, которая находится в музее Александра III, я взял лицо другое. (Небольшой этюд на картончике, но я ценю его в 500 р.)

Никто ещё не видел у меня этого этюда. Я думаю, его приобретет И. Е. Цветков: он очень любит Васнецова. Ещё нашлось несколько этюдов пейзажей того же времени (написанных в окрестностях Парижа и в Нормандии – тоже очень законченные картинки есть между ними).

А Софья Алексеевна все лучше и лучше становится в моих глазах. Не знаю, так ли она понравится Вам. С искренним желанием Вам всего лучшего, прошу передать наш привет Александре Степановне.

Илья Репин.

Обязательное обучение в Китае

Китайское министерство решило в принципе обязательное обучение грамоте детей начиная с десятилетнего возраста. Система всеобщего обучения будет сперва применена печилийским вице-королем Ю-ан Шикаем в его провинции. В каждом селении, в котором живет не менее 50 семейств, будет устроена первоначальная школа, самое меньшее на 40 детей. Родители, которые в течение года не подчиняются закону о всеобщей грамотности, подвергнутся наказанию. Правительство предоставит дворянские привилегии и почетный титул каждому частному лицу, которое на свои средства устроит 10 начальных школ из 500 детей. Обучение будет продолжаться два года, по прошествии которых детям будут выданы свидетельства.

Путеводный огонёк N 13 7/VII

Просвещены св. Крещением:

настоятелем Х.-Рождественской церкви села Супрягина, Мглинского уезда, протоиереем Димитрием Федоровским, 6 апреля сего 1908 года, еврейка-мещанка г. Суража Рива Иеселева Крамкова, 21 года, с наречением ей имени «Александра»; священником церкви с. Евлашовки, Борзенского уезда, Петром Арендаревым, 19 апреля сего 1908 г., еврейка-мещанка г. Вишневец, Кременецкого уезда, Каменец-Подольской губернии, Марьям Юдковна Гольдиморудим, родившаяся 2 декабря 1888 года, с наречением ей имени «Мария»; настоятелем Соборной Р.-Богородичной церкви г. Конотопа, протоиереем Петром Крачковским, 24 июня сего 1908 года, еврей-мещанин Киевской губернии Лейзер-Либер Мордков Мильграм, 41 г., с наречением ему имени «Николай»; священником Михайловской церкви села Голенки Конотопского уезда Константином Доброгаевым, 1 июня сего 1908 года, еврейка-мещанка г. Конотопа Хана Горова Белявская, 33 лет, с наречением ей имени «Елена».

Черниговские епархиальные известия N 14, 15/VII

2. О чём говорили в поезде Женева – Эгль вечером 31 июля 1908 года

– Убийство, мой дорогой, завораживает только новичка. Не то чтобы войдя в привычку, оно приедается – нет, скорее, отупляет. Разумеется, я не имею в виду случаи психопатические. Безумца направляют иные чувства – бог весть какие. Нет, я говорю исключительно об обыкновенном человеке. Человеке, который больше всего боится собственной смерти. Есть несколько способов преодолеть этот страх, я говорю о самом простом. Преступив Шестую заповедь, он, разумеется, немедленно возносится над мириадами себе подобных, вместе с чужою плотью умерщвляя и свой страх и вытесняя его куда более полезной страстью – дерзостью. Но если это и приносит некоторое удовлетворение, то само деяние – нет, ни в коем случае. Нет. В убийстве нет ничего притягательного с физиологической точки зрения – неважно, убиваешь ты человека или животное.

– Спорить с вашей милостью не всегда целесообразно, но всегда интересно, поэтому я возьму на себя смелость возразить. Вы цитируете Платона, это ясно как день, но мне думается, во-первых, что ваши рассуждения грешат экстраполяцией и даже обобщением, то есть приёмами, к которым следует прибегать крайне редко, а в идеале – избегать вовсе. Душегуб может руководствоваться тысячью и одним побуждением, и многие не испытывают ничего, кроме ужаса и стыда. Если же мы говорим об идеальном убийце, действующем рассудительно и бесстрастно, то и он необязательно, как вы выразились, возносится – убивая, скажем, ради денег, ты радуешься материальной выгоде, убийство же лишь инструмент её получения, навроде закладной. Убил и забыл. Однако же вместе с тем я усматриваю некоторое сходство между убийством и сексуальным актом. Последствия у того и другого могут быть совершенно различными – срам, горе, удовлетворение, гордость, безразличие. Однако же в одно-единственное мгновение – ваша милость понимает, о чём я – человеческое существо испытывает мощнейшую эмоциональную эксплозию, своего рода катарсис. И вот её-то переживают все без исключения, какие бы побуждения ни двигали убийцей и что бы он ни испытывал впоследствии.

– Помилуй, ты рассуждаешь как схоласт. Я же всегда предпочитаю опираться на эмпирическое. Своего первого волка я убил в шестнадцать лет, это было под Сунженской, отец любил там охотиться, ты же знаешь. Он брал меня на каждую травлю, я их ненавидел, и вероятно, не напрасно – ведь потом я понял и оценил, что значит брать зверя по-настоящему, один на один. У папá же всё было по-другому. Ещё за полночь выезжают подводы с провизией, повозки, набитые заботливо укутанным в сено вином, полусонные возчики, не опохмелившиеся егеря, бледные от постоянного недосыпа денщики и грумы, вся эта орава измученных службой русских людей. Все желают только одного – угодить своему господину, который в эти часы ещё спит, безмятежный, в объятиях чьих угодно, только не моей матери. Утром, конечно, будет суета, торопливое клацанье пряжек, рожки, свежий воздух, грубые мужские шутки, вечное неудобство штуцера, отвратительное холодное козье молоко на завтрак. Где-то уже варят людские щи. Я стоял на указанном мне месте, думал о чём-то своём, пока ласковое шипение егеря не проникло мне прямо в ухо – я спустил курок, кажется, так не освободив до конца свои грешные мысли. И попал. Господи, как радовался отец – вероятно, он не был и вполовину так счастлив в день моего рождения. Ну конечно, младший, самый убогий, избегающий кузин и лошадей, зарывшийся с головою в капитана Немо, Псалтырь и Боратынского – убил волка! Да как! С первого раза! Тут же распотрошили телеги, какие-то брезентовые раскладные столы – редкость по тем временам – были приведены в действие, вино полилось Курой. Меня вырвало – не от вида волчьей крови, залившей разделочную полянку; от вина. Чувство отягощения злом не отпускало меня несколько часов – пока не увидел, как касуги из конвоя поедали под-

жаренное на углях мясо убитого мной волка; оно было омерзительное на вкус, каждый съел по крохотному кусочку, но это был ритуал: волки были главным врагом их стад, а я – их героем.

– И как быстро вам приелось убивать?

– Я не говорил, что приелось. Я сказал, что из всех чувств осталось только отупляющее равнодушие.

– Думаю, обычный человек – о котором мы вроде бы взяли рассуждать, – испытывает нечто подобное только на войне.

– Я не был на войне, как ты знаешь, и заурядные человеческие страсти – надеюсь, ты непустишься в диспут о противоестественности подобных вещей – мне приходится удовлетворять иными путями. Но ты отчасти прав. Я получил в своё время несколько писем от Кирилла из Порт-Артура. Он описывал там ужасающие вещи. Кстати, он по-прежнему зовёт меня «дядюшка», что совершенно верно юридически, но от того не менее смешно, коль скоро он моложе меня всего на девять месяцев.

...Чёрт возьми, как неудобно, когда больше в вагоне никого нет. Мы так ничего и не знаем о дилижансе до деревни. Правда, мне показалось, что я слышал на перроне русскую речь, причём как минимум от двоих, но вагонный служитель, конечно, был бы тут более полезен. Однако, судя по всему, эту каналью скоро не доищешься. Как их тут вызывают, ты не знаешь?

* * *

– Нам, бернским, вообще принято завидовать. Конечно, в Иннерходене или Шаффхаузене время вообще остановилось, но там полицейские и получают сушие гроши: граждане знают, кто им на самом деле нужен, а кто так, больше для проформы. Стоящее преступление там совершается раз в сто лет, даже вахмистра не считают за человека, а выше гауптмана чинов не существует вообще. Но бог с ним, с Иннерходеном. Возьмём, например, Женеву. Я приехал вчера, замечательно погулял и отлично пообедал – вещь, совершенно недоступная в Берне. Но служить здесь я бы не стал ни за что. Не потому, что я недостаточно знаю французский – я бы и в Цюрихе работать не смог. А потому, что жизнь у вас слишком уж бурная. Всякие иностранцы так и кишат и у каждого второго – дурные намерения и браунинг в багаже. Подвальчики с куплетами, курящие девицы, студенты, никогда не выдавшие аудитории, опиум, контрабандный бренди – ничего этого у нас в Берне нет, и это замечательно. Разумеется, иностранцев и у нас хватает, но всё же мы несколько на отшибе и конченные сорвиголовы до нас не добираются. Жалованье же при этом совсем как в Женеве. Короче, нам завидуют, но нас это не беспокоит. Обывателю служба инспектора кантональной полиции представляется чем-то унылым и в то же время несложным. Сколько я наслушался анекдотов про пастуха, уволенного общиной за идиотизм, но вернувшегося в деревню с погонями ефрейтора! Был бы досуг, можно было бы издать толстенькую книжку. А между тем из иного ефрейтора вполне может выйти судебный следователь и, чем чёрт не шутит, даже прокурор. Вот Вальтер, который так удачно отдал вам ногу на перроне (ей-ей, удачно, ведь иначе мне пришлось бы скучать три часа одному вместо такого приятного общества, да ещё коллеги). Сидит, трясётся сейчас в своём третьем классе – и наверняка зубрит «Полные комментарии к Закону об уголовном праве» или вообще того гляди *Zivilgesetzbuch*¹. Девятнадцать лет, бреется еле-еле, а котелок варит получше, чем у меня. Это у него в мать, конечно, недаром она сестра моей жены. У них в Туне вообще бабы головастые.

– Во французских кантонах третий класс ужасен, как это ни прискорбно. Вы сделали бы своему парню большое одолжение, если бы немного доплатили.

¹ Гражданский кодекс (нем.).

– Вероятно. Но молодость должна вдоволь испытать трудностей, даже маленьких. Тем слаще будут плоды зрелости, да. Кроме того, подозреваю, что услышав мой немецкий акцент, кассир не осмелился предложить мне для молодого человека второй класс – он-то наверняка знает, что у нас все преспокойно ездят третьим.

– Между прочим, у вас вполне приличный французский, господин Зенн, не наговаривайте на себя.

– Это родной язык моей матушки, господин Целебан. Но практики в наших краях, конечно, маловато. Как долго ещё до Эгля?

– Судя по тому, что мы окончательно прижались к озеру, сейчас будет Веве. Значит, скоро Монтрё и потом начнём забирать в горы. Минут через сорок прибудем.

– Надеюсь, ресторан в гостинице ещё работает.

– Ручаюсь, что да. Они никогда не закрываются, пока последний поезд из Женевы не прибудет на станцию. Вы надолго в Эгль?

– Как пойдёт, господин Целебан, как пойдёт. Откровенно говоря, я впервые провожу свой отпуск не дома. Но у вдовца есть свои маленькие привилегии, не так ли? Вальтер одержим юриспруденцией, но ещё более он одержим семейной историей. Вот он и откопал где-то, что самый дальний из известных мне моих предков, рыцарь Вольфганг фон Зенн, служивший под знамёнами Савойского дома, пал при обороне замка Эгль во времена Бургундских войн. Неплохая штука эта генеалогия. Могила, конечно, не сохранилась, да. Но всё равно. У вас-то, небось, генеалогическое древо на полстены висит, хе-хе.

– Только по материнской линии. Только по материнской.

* * *

– Вы сказали «положение вне игры на своей половине поля»?

– Да. Это новейшее правило, оно введено только в прошлом году. В вашей семье кто-нибудь увлекается футболом?

– В нашей семье увлекаются вырезанием купонов и устройством выгодных партий для женщин. В этом смысле мы с мужем дурные овцы в стаде: он при первой возможности рвётся в горы, а я рвусь куда угодно из Женевы. А в Женеве играют в этот ваш футбол?

– Насколько мне известно, да. Хотя я и не знаю деталей. Но там, где появляется хоть сколько-нибудь англичан, тут же появляется футбольная команда. Думаю, что с англичанами в Женеве всё обстоит отлично.

– Наверняка. У моего деверя на шерстяной мануфактуре работают несколько англичан. Она находится в Сатиньи. Если ехать со стороны французской границы, то прямо перед станцией её отлично видно по правую руку.

– Для чего же устраивать в Женеве ткацкую фабрику?

– Наши предки из Лиона. Бежав от революции, они занялись здесь своим исконным ремеслом.

– Это бессмысленно.

– Что? Ткать?

– Бежать от революции.

– Как видите, не совсем. Четыре поколения наших семей это подтверждают.

– Четыре поколения с точки зрения истории – это ничто. Революция придёт и сюда, точно так же, как она вновь придёт во Францию.

– Господь с вами, не пугайте. Мой муж говорит, что во Франции уже было три мятежа и этого вполне достаточно. У народа вырабатывается какая-то естественная защита. Вроде оспопрививания.

– То, что вы называете «мятежами», во Франции случалось вовсе не три раза. Даже если не считать настоящие мятежи, вроде Фронды или Варфоломеевской ночи. И если про восстания ткачей на родине ваших предков в Лионе – а ткачи бунтовали как минимум трижды за последние семьдесят лет – вы могли и не слышать, то «Отверженных» читали наверняка. А ведь роман этот о восстании тысяча восемьсот тридцать второго года.

– Неужели о восстании? Мне казалось, о бедняжке Козетте и жестоких Тенардье.

– Вы смеётесь. Это смех самозащиты. Вам до смерти интересно узнать если не про восстание восемьсот тридцать второго года, то уж про лионских ткачей точно.

– Вы угадали. Но не трудитесь. Я возьму что-нибудь в публичной библиотеке.

– Поищите подшивку *Mélanges occitaniques* за соответствующие годы. А если не найдёте, осмелюсь порекомендовать книгу под названием *Le Littré de la Grand'Côte*. Это словарь лионского языка, сочинение некоего господина Низье дю Пьюспелу. Там есть любопытные заметки о ткачах.

– Какого-какого языка?

– Лионского. Его ещё называют франко-прованским.

– Муж умрёт от зависти, когда я перескажу ему наш разговор. Напрасно он не стал меня ждать и уехал позавчера. Он обожает людей вроде вас. Дайте угадаю: вы историк и вы иностранец.

– Вы угадали только наполовину. Сфера моих научных интересов лежит скорее в области антропологической. Но позвольте и мне задать вам один вопрос. Вы сказали, что ваш муж обожает горы. Значит ли это, что он хорошо знает Альпы в тех местах, куда мы направляемся? Кажется, их называют Бернскими Альпами, хотя находятся они и в кантоне Во.

– Вы совершенно правы. Более того, я хотя и не имею того опыта, что мой муж, с некоторых пор сама увлеклась горвосхождениями. И именно в Бернских Альпах.

– Ещё того легче. Не расскажете ли в таком случае, что ждёт не слишком искусного альпиниста в этих местах?

– С превеликим удовольствием. Итак, самое подходящее для новичка место в этих краях называется – только не смейтесь – Дьяблере...

3. Из дневника Степана Маркевича

1/VIII-1908.

Указал дату и сразу же позабыл, что именно хотел сперва записать. Завтра Ильин день, но здесь он – в августе и даже это простое и понятное расхождение дат приводит меня в смущение. До позавчерашнего дня я жил летом, пусть холодным русским, но летом. Сев в экспресс, я лишь аккуратно переводил стрелки хронометра, дата же меня не интересовала, все эти сорок пять часов я существовал по календарю родимой империи. И только пересаживаясь в Париже, мучимый целой толпой таможенников (помимо государственной, здесь есть ещё старомодная феодальная «октруа», сиречь таможня городская – эти пытали меня дважды; еле отбился), был вынужден смириться с тем, что здесь вот-вот август, почти что осень. В Париже по крайней мере стояла тёплая погода, здесь же – совершеннейшие дожинки, низкое портяночного цвета небо и мерзкий, совершенно петербургский дождик. Из-за облаков не видно никаких гор, и хотя я точно знаю, что если выйду на террасу, то прямо передо мной будет Се-Руж, а чуть поодаль – Ле Шамосер, но я могу только догадываться об их существовании. Морф² горы Се-Руж. Я тащился из Эгля в дилижансе, взяв, разумеется, не купе, а внутреннее место (потому что 15 сантимов разницы составляют стоимость письма в любую точку Швейцарии, да ещё пятак сдачи) и, не видя вокруг ровным счётом ничего, утешал себя обещаниями самых роскошных пейзажей тут, в окрестностях Дьяблере (до которой мне непременно хочется добраться). Но, видимо, вертихвостка Тихе исчерпала свои симпатии ко мне чуть ранее, сперва дав беспрепятственно покинуть Россию, а затем показав на берлинском вокзале незадачливого воришку, чинно удалявшегося прочь с моим бумажником. Иначе я, вероятно, до сих пор бы сидел *unter den Linden* в ожидании перевода от Александрин. (Поездочка и так выходит почти в семьдесят целковых, боги, боги.)

Я проспал и вечерний чай, и завтрак, и это обстоятельство наилучшим образом подтверждает всё, что я ранее слышал об этом месте. Конечно, именно мне – именно русский врач не так важен, как иным другим, даже с учётом того, что он «из наших». Я в состоянии говорить о своих недугах и français и Deutsch. Вероятно даже, что совершенно чуждое окружение было бы мне полезнее. Но по крайней мере мне здесь гарантированы покойная кровать и чистый воздух. Сведущ ли В. в том, с чем ему придётся столкнуться в моем лице, неизвестно, но практику в Швейцарии получить непросто, в отличие от Франции, где, как говорят, есть даже доктора-американцы. Правда, сегодняшним поздним утром он беседовал со мной не столько как с пациентом, сколько как с постояльцем, осведомляясь о самых обыкновенных вещах, вроде здоровья А.М., который знаком ему по Гродно, или обстоятельствах недавнего ареста и освобождения Зиновьева. Он (я знал это и ранее) на короткой ноге со многими. В прошлом году здесь отдыхал Аксельрод. Доктор объяснил мне местные порядки – а они здесь установлены совершенно русские. Утром чай, чуть ли не в час пополудни обед с супом и зеленью, ранний ужин, тоже довольно плотный, после заката ещё раз чай. Крепкие напитки и даже пиво категорически воспрещены.

Санаторий сам по себе довольно велик и, по-моему, устроен преглупо. Разумеется, это *chalet*: таким образом, мне сразу же предоставлена почти вся местная экзотика; осталось отведать сыра. Дом стоит прямо на дороге, ведущей из Эгля в деревушку Вер л'Эглиз – до последней четверть часа ходу – но совершенно обособленно: ни единого строения, кроме пресловутой Ротонды вокруг нет. Из четырёх этажей два верхних могут называться мансардой, ибо стенами

² Образ (греч.).

им служит крыша. В четвёртом этаже, всего в два оконца под самым коньком живут домоправительница и её дочь, из которых я по приезде встретил первую. Её фамилия Бушар, зовут мадам Марин (а дочь, которую я видел мельком, – мадемуазель Марин, что, по-моему, очень практично) и я уже у неё в долгу: увидав, что кучер заносит мой чемодан в явном расчёте на сбережённый мной пятак, она решительнейшим образом вырвала его у него из рук и самолично отнесла в мою комнату. Говоря откровенно, в другой руке она могла бы отнести и меня самого, ибо из известных мне людей мадам более всего смахивает на моего корпусного дядьку фельдфебеля Самуся – впрочем, тот был совершенно плешив.

(Неоднократно доводилось слышать о том, сколь некрасивы швейцарки. Несомненно, это есть род массового предубеждения, навроде того, что «англичанки надменны», «француженки ветрены», «венгерки развратны». Мне не доводилось сталкиваться с англичанками и венгерками, но те немногие француженки, которых я знал, отличались как раз чрезвычайной чопорностью и высокомерием. Что до некрасивости швейцарских женщин, то по крайней мере моя давешняя попутчица не оставляет от этого мифа камня на камне. Да и хозяйская дочь вовсе не показалась мне дурнушкой, а если и выглядит несколько грустной, то тому есть вполне убедительные причины. Меня предупредили, что мадемуазель практически нема от рождения, да и слух находится почти в зачаточном состоянии, а впрочем, девушка превосходно читает по губам.)

Раз уж я начал сверху, продолжим. В третьем этаже живу я и, кажется, все комнаты здесь – «экономические». Если моя догадка верна, то все те пациенты В., которым Bettelbrief³ полностью или отчасти заменяет кошелек, селятся именно здесь и, пожалуй, не вправе роптать на условия. Впрочем, даже на мой непритязательный вкус обстановка в этих помещениях спартанская. У меня, например, есть только шкаф с отделением для белья, простая кровать, пара стульев, туалетный столик и письменный стол. Обои свежие, но очень дешёвые, а единственное украшение – пейзажик на стене – кажется, приобретён на *marché aux puces*, блошином рынке. Главное же – комната узкая как пенал и более всего напоминает камеру, только в камерах обычно высокие, в три человеческих роста, потолки – здесь же даже я со своими пятью вершками задел лампу макушкой.

Комнат здесь пять, разделённых параллельным фасадом коридором. Три, в том числе и моя – по фасаду, и выходят окнами на Се-Руж и деревню. По соседству, кстати, воцарился Т. с его необъятным багажом. Две, задние – на другие, неизвестные мне горы и Ротонду. В коридоре висят те же пейзажики и почему-то портрет Шаляпина, тоже очень плохой.

Да, чуть не забыл: каждая комната здесь не пронумерована, а носит имя какого-нибудь города империи. Я живу в «Риге», на нашем третьем этаже имеются также «Лодзь», «Киев», «Харьков» и «Тифлис». Простая логика и немного знаний (недаром же я работал в Статистическом обществе!) заставляет меня предположить, что комнат на втором этаже четыре и называются они «Петербург», «Москва», «Варшава» и «Одесса».

Второй же этаж я описать пока не в состоянии, но это, думаю, ненадолго: моя генеральша явно обитает там, поскольку описанные в путеводителе Якубовича «почти роскошные апартаменты с ванной и ватерклозетом» явно не могут быть комнатами третьего этажа (хотя бы потому, что в моей комнате нет ни ванны ни клозета). *Ergo*, они на втором этаже. Её превосходительство же не может существовать без ванны, это ясно как день, а коль у меня к ней письмо от Александрина, то очень скоро я эти комнаты увижу. Тогда и опишу. Единственное, что бросается в глаза по крайней мере снаружи – резной балкон, опоясывающий один из углов санатория как раз на втором этаже. Почему он не сделан вокруг всего дома, непонятно, но выглядит это довольно симпатично.

³ Рекомендательное письмо (нем.).

Словно в насмешку над аскетичной теснотой третьего этажа, на первом здесь царит совершенно несурзанный простор. Отделанные дубовыми панелями сени (слово hall здесь ещё менее подойдёт) вполне могли бы вместить офицерское собрание стрелкового батальона, особенно если убрать рояль, столь же уместный в санатории для нервных больных, как и в стрелковом батальоне. К сеням примыкают справа и слева две комнаты, в одной из которых, левой, с зелёными обоями, меня и принимал В. и которая служит ему одновременно конторой, кабинетом и смотровой. Очевидно подобное триединство назначения наложило свой отпечаток на её убранство, где пара аптекарских шкапов с занавешенными изнутри белой гармончатой тканью стеклянными дверцами преспокойно соседствуют с огромным шкапом несгораемым, громада бумаг явно немедицинского назначения на столе – с самым настоящим охотничьим ружьём, правда очень коротким, аккуратно пристроенным на каминной полке, а совершенно роскошный персидский ковёр – с кардиографом. То же касается и украшающих кабинет картин и фотографий. Если изображённых на портретах маслом я не узнал (очевидно, это какие-то медики), то на маленьком столике в живописном беспорядке расположились карточки Гауптмана, Поддубного, Лилиной (кажется, с автографом), Фигнера и Морозова. Слева же от камина же доктор Веледницкий развесил собственные фотографии – правда, исключительно групповые. Судя по вензелям, доктор был запечатлён здесь в компаниях товарищей по Цюрихскому университету, какой-то клинике, стрелковому кружку, юбилейному заседанию по случаю 80-летия «Военно-медицинского журнала». В углу этой комнаты имеется внутренняя лестница, соединяющая, как пояснил мне В., первый этаж непосредственно с мансардой в качестве своеобразного чёрного хода для обеих Марин. Другая же лестница, парадная, ведет прямо из сеней на второй этаж, а оттуда – на третий (который тоже есть, в сущности, мансарда; надеюсь, что изложил достаточно ясно, чтобы прочтя эту запись через десять лет, быть в состоянии всё вспомнить). Таким образом, четвёртый хозяйский этаж совершенно изолирован от этажей гостевых, но сделано ли это специально или по недочёту, я не знаю. В правой комнате, гостиной, обои розовые с какими-то фантастическими птицами, точь-в-точь как на воротах Долгой Просеки, в ней имеются камин и ломберный столик и из неё в фасаде прорублено французское окно с дверцей на мощённую каменными плитами террасу, которая и есть, вероятно, самое уютное и приятное место во всем доме. Некий толстяк обосновался на ней по всей видимости с самого утра, захватил самый большой *deckchair*⁴ и наслаждается своей гаваной. Но и это ещё не всё. Напротив французского окна из розовой гостиной (или каминной, как её назвал В.) есть третья дверь, в столовую. Столовая оказалась такой маленькой, тесной и темной, что можно предположить, какое невысокое значение приёму пищи пациентами придаёт В. Напоследок: кухня и буфетная со столовой непосредственно не сообщаются, хотя и имеют общую стену; вход в эти помещения находится в сенях, под парадной лестницей. Всю остальную заднюю часть дома на первом этаже занимает квартира В. и, кажется, чуланы, но, разумеется, ни там ни там я не был, да и вряд ли побываю.

Исписал восемь страниц, а ведь ещё только полдень. И я ещё ни слова не написал про Корвина, а ведь я думал о нём всю дорогу из Эгля и проснувшись, первым делом спросил про Ротонду. Но стоял такой туман, что В. ничего не смог мне показать, хотя домик вроде бы находится в полусотне шагов от пансиона. Спрошу в своё время. Нужно спуститься на обед, а для того – одеться поприличнее: В. предупредил, что в пансионе, кроме генеральши и её компаньонки Луизы Фёдоровны, есть ещё одна дама. Утомительная власть этикета; жаль, что нельзя заказать что-нибудь в комнаты, хоть колбасы. Мне безразлично, чем питаться, но последний раз я ел тридцать часов назад в Женеве и хорошая рубленая котлета с жареным картофелем была бы сейчас более чем уместна. И очень хочется кофе, надеюсь, что здесь он по крайней мере лучше, чем в России.

⁴ Шезлонг (англ.).

Десять лет назад, 1/VIII. 1898 ничего примечательного не происходило

4. Знатоки умеют вовремя уйти

Кофе в санатории оказался прескверным.

– Рио-нуньес, – сказал Николай Иванович Скляр, отодвигая чашку. Впятером они сидели на террасе, воспользовавшись тем, что дождь как раз прекратился, пока они обедали. – Бенедиктину бы к нему хорошо-с, да только я крепкого не пью. Впрочем, доктор вообще здесь это всё не одобряет, даже кофе. Говорит, возбуждает, а здесь и так воздух разреженный.

– Если я не ошибаюсь, – Маркевич близоручко сощурился в поисках пепельницы, – идея лечить нервные болезни в Альпах вообще довольно дерзка с точки зрения медицинской науки.

– Вы и ошибаетесь и не ошибаетесь, – ответил Скляр. – Мы с вами на высоте где-то четырёх тысяч футов. Швейцарцы, которые не менее британцев обожают всё систематизировать, утверждают, что данная коммуна находится на границе второй и третьей высотных зон, то есть там, где совершенно мягкий, привычный для равнинного жителя климат постепенно становится похожим на настоящие горы с их сухим воздухом и пониженным барометрическим давлением. Да, горы, даже не слишком высокие, немного повышают раздражительность, с этим никто и не спорит. Но на здешних высотах это решительно незаметно, зато мускульная деятельность сердца – так утверждает доктор – вследствие сухости воздуха и пониженного давления активизируется многократно, а это даёт не раздражительность, а только бодрость духа и прилив сил. Что чрезвычайно полезно не только для анэмиков, но и вообще для лиц ослабленных, в том числе и нервно. Кроме того, единственный критерий истины есть практика, а тут нашего доктора нечем бить: результаты прямо-таки поразительные. Один миллионщик Балябин чего стоил. Родственники совсем уже собирались его у Чечотта запереть, да и, полагаю, состояние притибрить, а здесь за четыре месяца на ноги встал, в позапрошлом году в Милане на выставке большую серебряную медаль за свой новый доменный завод отхватил. Вы же знаете его наверняка, Алексей Исаевич?

Человек, к которому обратился Скляр, сделал плечами движение, которое могло временно означать и «Да откуда?» и «Ну разумеется!» и закончив это, вероятно весьма утомительное, упражнение, вновь припал губами к потухшей сигаре. На вид ему можно было дать и тридцать и пятьдесят, в шезлонге он помещался еле-еле, впрочем, как и в тёмной суконной тройке, пересечённой по талии золотой часовой цепочкой.

(За обедом он тоже хранил полное молчание, лишь однажды попросил Маркевича передать ему соль. Обедали все за обширным, почти во всю площадь небольшой столовой, овальным столом, впрочем, полупустым: обещанные Веледницким дамы отсутствовали, да и сам доктор, как оказалось, столуется у себя.)

«В странную компанию я попал, – думал Маркевич, пытаясь разглядеть в небе хоть какой-то намёк на то, что пробьётся солнце. – В империи полтора миллиона душ. Из них, вероятно, процента два имеют возможность приехать на заграничный курорт. Пусть даже один процент, пусть половина. Все равно получается орда. И вот из этой орды за тысячи вёрст от России собираются под одной крышей полдюжины человек, почти каждый из которых в той или иной степени мне известен. Даже если не считать Тера. Ну, конечно, я ничего не знаю о жене Лаврова, но самого-то Лаврова я читал и много читал. И “Усадьбу Зайцевых” видел в Практическом театре. Интересно, что он здесь лечит? Творческий кризис в форме нервного ослабления? Последняя его вещь, как её, “Человек из Порто-Франко”, совсем плоха. Удивительно, что он очень небольшого роста, ниже меня.

И про Алексея Исаевича Шубина я слышал. “Товарищество русских велосипедных заводов”. В “Новом времени” со щенячьим восторгом писали, что подлинное величие промышленности не в дредноутах и паровозах, а в велосипедах и коньяке отечественной фабрики.

Кажется, Шубин из старообрядцев, Исай – очень распространённое у них имя. Но если и так, то точно из бывших – сигару изо рта не выпускает даже потухшую.

К генеральше у меня приватное письмо, про Склярова нечего и говорить. “Товарищи по убеждениям”, одна из первых революционных прокламаций, которую я держал в руках, политическое завещание участников “Процесса 193-х”. “Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг”... Там есть и его подпись».

– ...преимущество какого-нибудь бузинного цвета перед хинином кажется мне абсурдным. Предложите больному гемиплегией нарзану, благодарю покорно. Не вижу ни единой причины противостоять в этом случае прогрессу; хотя все мы здесь, кажется, большие прогрессисты.

– Тут паралитиков нет.

– Я и не утверждал ничего подобного, господин Тер-Мелкумов, – отозвался Лавров. – Я всего лишь привёл в пример заболевание, которое было неизлечимо дедовскими методами, а теперь довольно успешно лечится средствами современной науки. Воздух, разреженный он там или нет, прогулки, гомеопатия, сон по десять часов и парёная марь с выпускным яйцом на закуску – всё это прекрасно, не спорю. Но коли у меня заболит голова, я приму порошок антипирина. Как вы сказали давеча за обедом, господин Маркевич? «Человечество не может быть истреблено хотя бы потому, что оно придумало виндзоровскую плитку»? Вот примерно то же самое я думаю про ваши воды, Николай Иванович.

– И вы с ним согласны, Степан Сергеевич? – жалобно спросил Скляров.

– Нет. Я твёрдо стою за домашнее лечение – валерианой, ромашкой, бараньей травой, французской водкой с солью, электричеством и магнетизмом, – сказал Маркевич и поднялся с кресла. Тер тихо хихикнул.

– Между прочим, – заметил Скляров, – вот Александр Иванович с утра принимает ледяные ванны. Прямо на заднем дворе. А вы посмотрите, какой он здоровяк.

– Это правда? – спросил Лавров.

– Не совсем, – ответил Тер-Мелкумов. – Я обливаюсь по утрам холодной водой. С самого детства. Не знал, что за мной наблюдали, да ещё в такую рань.

– Преотличнейше наблюдали, – воскликнул Николай Иванович. – Мы здесь рано поднимаемся. Мадам обжаривала кофе, я смотрел утреннюю почту, а мадемуазель куда-то запропастилась. Пошли её искать, а она на вас глазеез из смотровой. Мадам Марин очень на неё ругалась.

Тер-Мелкумов вдруг густо покраснел, и все это заметили. Был он довольно высок, сух и гибок, длиннорук и коротконог, носил гвардейские усики, отлично сидевшую на нём клетчатую пару и светлые суконные гамашы поверх новеньких стетсоновских ботинок. Два часа назад, перед обедом, Веледницкий представил Маркевича остальным сотрапезникам: «Ну, а с Александром Ивановичем вы, вероятно, знакомы? Одним же поездом ехали?» Оба новых гостя весьма натурально замотали головами и сделали вид, что рады, весьма рады.

– А вот и доктор с почты возвращается, – сказал вдруг Скляров, указывая на показавшийся из-за поворота велосипед. – Пойду встречу. Степан Сергеевич, Александр Иванович, у меня к вам дело, не забывайте!

С этим словами словоохотливый старичок выскользнул в стеклянную дверь и через секунду уже выговаривал по-французски мадемуазель Марин за плохо отдраенную дверную ручку.

– Он здесь, кажется, за домоправителя, – сказал Лавров, провожавший Склярова долгим взглядом через плечо. – Вчера он ругался с мальчиком мясника, да так самозабвенно, что мы бросили своё лото. А пару дней назад я видел, как он вешал в смотровой герб.

– Герб?

– Герб Веледницкого. Он висит над дверью, так что вы его, возможно, не заметили. Это «Топор».

– Мало кто столь несведущ в геральдике, как я, – вздохнул Маркевич. – Что значит «Топор»?

– В Польше все гербы имеют имена собственные. Их очень мало, можно сказать, наперечёт. И употребляется каждый не одной фамилией, а несколькими, иногда до сотни дело доходит. Вот Веледницкие – как и Грабовские, например, или Забеллы – род герба «Топор». В червлёном поле топор, остриём вправо. Лезвие – серебряное, рукоятка золотая.

– Невероятно. И господин Склярлов этот герб вешал?

– Своими глазами видел. Приволок откуда-то стремянку, вскарабкался, вбил гвоздь... Я читал когда-то юбилейную статью о нем в «Заграничной газете». «Мирабо нашей революции», «Витязь свободы», «Самый дерзновенный побег в истории русской каторги» и всё в таком роде. Не знал, что в жизни он так суетлив.

– А вы давно здесь?

– Да уж с неделю, – ответил Лавров. – Елена Сергеевна почти силком затащила. В Ницце ещё слишком жарко, ну а мы люди вологодские. Но здесь недурно: тишина и воздух хороший. Да и секретаря моего Веледницкий за полцены устроил. Правда, в задней комнате.

– Он не обедал с нами, – заметил Маркевич.

– Он вызвался проводить Елену Сергеевну в Эгль. За покупками. Не знаю уж, что можно купить в этом захолустье, но, как говорится, *femme querelleuse est pire que le diable*⁵. Что до господина Фишера, то... я понимаю, о чём вы. Нет, я его совершенно не стесняюсь и он, кажется, страшно занимает старуху-генеральшу. Вчера, например, они час спорили о природе нравственности у Толстого. Её превосходительство отстаивала популярную точку зрения, что граф – внутренний пошляк, пытающийся вытеснить свои пороки на страницах рукописи.

– Интересные тут у вас диспуты.

– О да, – сказал Лавров. – Давеча господин Склярлов читал вслух из Чулкова. «О зарево, пылай! Труби, трубач! И песней зарево встречай». Анна Аркадьевна отчитала его, потому что, во-первых, стихи ужасно плохи, а во-вторых, совершенно смутьянские. Со вторым ещё можно согласиться, впрочем. Так что вы тут у нас не заскучаете. Вы в горы ходок?

– Давно не практиковался. Но я говорю о настоящих горовосхождениях, не о прогулках. Я же отчасти вырос в Кахетии. Но у меня есть тайный замысел: соблазнить Александра Ивановича на несколько частных уроков.

– Не сомневаюсь в успехе вашего начинания, – улыбнулся Лавров. – А я вот страшно боюсь высоты. Господин Тер-Мелкумов, а от подобных хворей ваш альпинизм не помогает?

– Я не врач, – сухо сказал Тер-Мелкумов и поднялся с кресла. – Обратитесь к доктору, это ведь тоже болезнь в некоторой стэпэни нервная. Господа, – он обвёл террасу полукивком головы, – я буду у себя.

Они остались втроём. Шубин курил, Лавров с рассеянным видом крутил в руке кофейную чашечку, словно пытаясь погадать, Маркевич, опершись на перила террасы, наблюдал, как из-за Се-Руж выползает тёмное облако. «Сейчас опять польёт. Ну и погода. Какие уж тут горвосхождения. Да и горы здесь настоящие. Это вам, Степан Сергеевич, не по Чатыр-Дагу ползать. Надо спросить у Веледницкого насчёт гантелей хотя бы, а то, не приведи Маркс, сорвусь вместе с товарищем Лексом».

– Дилижанс из Эгля, – Николай Иванович, несмотря на известную неуклюжесть, умел возникать как из-под земли. – Теперь уж все в сборе – и вовремя. Давно такого гадкого лета тут не было. Степан Сергеевич, можно вас на минуту?

Они отошли.

⁵ «Сварливая жена хуже дьявола» (фр.).

– Господин Скляров так старательно напускает туману, что, по-моему, все уже поняли, что он собирается потихоньку затащить вас поглазеть издали на Ротонду, – сказал Лавров, когда Скляров вновь исчез с террасы, а Маркевич вернулся к столику. – Он всем это предлагает. Я угадал?

– Не угадали, – засмеялся Маркевич. – Николай Иванович осведомлялся, не слишком ли низкие в моей комнате подушки. Он сам, мол, любит спать вообще на ровном матрасе, но мало ли, вдруг я такой привереда.

– А вы привереда?

– Что касается подушек, признаюсь – да. Мой тайный порок. Люблю высокие, а лучше, чтоб три.

– Не разделяю, но понимаю. Мой вам совет, попросите уж заодно у него запасной ключ от ванной комнаты: говорят, здесь имеют престранную привычку запирасть её на ночь. Пойдёмте, господин Маркевич, я вас с женой познакомлю.

5. Круг чтения старшего цензора Мардарьева

17 июля 1908 г., Поленица под Варшавой

Дорогой Вайсблат!

Нет, Вы меня, очевидно, не поняли или плохо меня знаете. Слишком много чести для Сэма Адлера меня декламировать. Могло бы случиться, чтобы Сэм Адлер исполнил одну из моих вещей на литературном вечере и он должен был бы мне за такую рекламу доплатить. Дать мне 200 рублей. Удавшийся вечер может принести 2000 рублей сбора, из коих я отдал бы значительную часть на добрые дела (учительскую кассу и т. п.), а Сэм Адлер должен был бы здорово поболеть и умолять меня выступить со своими подмастерьями-подонками на таком вечере, именуемом Литература и Шолом-Алейхем. На моих вечерах любители разыгрывают мои ж одноактные пьесы. А подонков я на порог не пускаю, уже пора, чтобы они вновь стали подмастерьями; парша на их головах все равно не излечилась. Но удалить их нельзя по другой причине: эти молодчики любят доносить начальству, если такая «птица» как я забираю у них вечер. Таких случаев было много... Я выразительно описал артистов и дворовых слуг. Я предполагаю, что вокруг Вас не вертятся такие людишки как Адлер, Фишзон, Компаневич и прочие...

Все-таки посылаю Вам афишу из Вильно, чтобы ознакомить Вас с программой моих выступлений, разрешенных виленским генерал-губернатором. Это значит, что в России ещё можно выступать. Естественно, надо найти такого организатора, который был бы вхож в такие сферы и не теперь, а вообще мы говорили о зиме. Если будет у Вас господин М. Розенблат, передайте ему все афиши и программы. Может быть, он найдёт подходящую персону. А если нет, я не огорчусь. У меня небольшая охота бывать в Киеве, а времени ещё меньше. Городов на Руси, слава Богу, достаточно, а охотников послушать Шолом-Алейхема ещё больше. Мой приезд в Киев был бы только ради Вас и ради Вашей идеи, которой я загорелся, а быть просто так, или продаться актеришкам за 200 руб., мои враги не дождутся. А дальше, будьте здоровы.

Ваш друг *Шолом-Алейхем*

* * *

Дорогой мой Леонид Николаевич.

Мне было так радостно получить Ваше письмо, где Вы, такой милый, высказываете свои впечатления, вынесенные после посещения моей «Идеальной Идиллии», этого тихого, грустного северного уголка, где можно прожить (конечно, при нормальной атмосфере!) так упоительно: «Отдалиться от людей и давать людям». Этот девиз мой мог бы здесь оправдать значение вполне, если бы я был один здесь; как это было бы чудно!

Я буду без конца счастлив Вас видеть у себя. На будущей же неделе непременно соберусь к вам; о дне приезда предупрежу.

Собираюсь в понедельник к Конст. Мих. Мама просит передать Вам её привет и благодарит Вас за память. Был 15-го в Петерб., пришлось ночевать и утром уехать. Крепко Вас обнимаю и жму руку.

От души благодарю Вас в свою очередь за то, что провели у меня день, доставили мне радость.

Ваш Игорь-Северянин

1908, 17-го июля, Мыза «Ивановка»

* * *

17 – VII – 08.

Дорогой Михаил Егорович,

ты не смеешь на меня сердиться – я не мог быть у Крупенского: занемог, весь день пролежал в постели с безумными болями в желудке, думал – дизентерия.

Уезжаю. И вот моя крепкая уверенность: и без этого визита все ясно: Эдип – ты!

Формальную сторону успеется оборудовать и в начале августа.

Займись ролью всюю! Желаю всего хорошего! Посылаю пьесу.

Целую.

Твой *Всеволод*.

Пиши по адресу: почт. ст. Чаадаевка, Саратовской губ.

6. Присмотрись хорошенько к смене ролей

Маркевич перехватил Веледницкого на полпути между смотровой и буфетной.

– Вы просили меня показать вам *anamnèse*⁶. Вот, извольте.

– Да-да, это замечательно, премного благодарен. Ммм... Я невысокого мнения и о Сикорском и о Попове, уж простите. Но это касается исключительно их выводов и методов лечения. Однако как клиницисты они весьма и весьма компетентны. Ergo, их исследованиям – ровно до того момента, когда они начинают *анализировать* – вполне можно доверять. Вы правы, что к ним обращались – всё равно в России лучше никого нет, разве что Бехтерев, но, как я слышал, ныне он берёт пятьдесят рублей за приём. Я посмотрю ваши записи. По особенно сложным случаям я иногда консультируюсь с профессором Блейлером. Да-да, тем самым. Он отчего-то мирволит мне. Почта в клинику Бургхолцли и обратно идёт дня три, плюс столько же дадим старику на то, чтобы обстоятельно подумать. Покуда же прошу вас следовать моим давешним рекомендациям. Пейте воду, побольше гуляйте – горы в умеренном темпе тоже не возбраняются, ну и порошки-с... не забывайте, дважды.

Маркевич кивнул.

– Кстати о почте, Антонин Васильевич, мне бы представиться её превосходительству. У меня к ней письмо, я вам говорил.

– Не ничего проще, – ответил Веледницкий. – Анна Аркадьевна уже спрашивала о вас, поскольку обладает сверхъестественным даром узнавать о всех новостях в санатории даже раньше меня. Шучу, шучу. Я обычно заглядываю к ней после обеда – всё же генерал-майорша... и только что в точности передал всё, что вы меня просили во время нашего... гм, ознакомительного приёма. Вас она, кажется, не помнит, а вот при словах «Александра Георгиевна» весьма оживилась, весьма. Да вы идите, идите: Анна Аркадьевна, даром что её предки разливали меды царю Феодору Иоанновичу, обожает изображать доступность. Там у дверей обычно маячит её немка, вот она и доложит.

– Ну, садись, садись, нечего тут. – Сейчас она больше всего походила на тётушку Маро, только без акцента и без усов. Говорила генеральша немного в нос и глотая «л» – Ты из каких Маркевичей, смоленских (у неё вышло «смойенских») или тамбовских?

Его почему-то совершенно не коробило это «ты» и даже необходимость отвечать на вопрос, бестактность которого она вряд ли понимала. Прежде чем ответить, Маркевич успел оглядеться и заметил, что даже в комнате санатория генеральша (ну, или скорее, Луиза Фёдоровна) поддерживала совершенно домашний уют. На стене вместо несчастного пейзажика разместились полдюжины выцветших карточек. Правда, ни на одной не было самой Анны Аркадьевны, ни в юности, ни в старости, зато присутствовал седой длиннородый старик в чёрном платье восьмидесятых годов, чей профиль с характерной горбинкой выдавал прямого – даже непосредственного – предка Анны Аркадьевны, ещё один старец, но бритый, со свитским шитьём на воротнике и обшлагах, при эполетах и владимирской звезде, и, наконец, поджарый наглоглазый мичман в галунном сюртуке, запечатлённый точно в такой же позе, как царь-освободитель на портрете Тюриня. Эти три карточки были очень старые, никак не позже семидесятых годов. Имелись и два групповых снимка и вид красносельского ипподрома, с подписью.

Тахта была покрыта камчатым покрывалом с грифонами и львами – такой роскоши от Веледницкого (вернее, от мадам Марин) ждать не приходилось, трюмо было сплошь заставлено серебряными коробочками и хрустальными флаконами, на полу лежал не невшателский тряпочный половичок, как у Маркевича, а добротный, хотя и несколько поживший килим. В довершение всего – а точнее, вершиной – на столе возвышался настоящий шемаринский само-

⁶ Анамнез, история болезни (*фр.*).

вар, отличавшийся тем нечеловеческим блеском, который может придать металлу только раствор щавелевой кислоты, да и то в умелых руках.

– Из смоленских, *votre Excellence*, – он не смог удержаться от соблазна, она кивнула:

– Вы не смогли бы уязвить меня сильнее, даже если бы подумали ещё час. Но хорошо же. Доктор Веледницкий сказал, что вы магистр и изучаете цыган. Я знавала магистра, который изучал религиозные воззрения селенитов, и магистра, защитившего диссертацию о перспективах алюминиевой нити в изготовлении позументов. Но о *Zigeunerforschung*⁷ я не слышала никогда.

– Доктор Веледницкий всё немного приукрасил. Я не магистр. Я всего лишь пишу диссертацию. Также не совсем верно утверждать, что она посвящена цыганам, то есть цыганам в том смысле, в котором это слово только что употребили вы. Я занимаюсь енишами. Не торопитесь поднимать брови, если бы про них знали всё, не было бы никакого интереса. Ениши – это белые цыгане. К настоящим цыганам, рома, они, кажется, не имеют никакого отношения. Они не просто европеиды, они именно европейцы. Во всяком случае, не меньшие, чем в Тамбове. Но образ жизни их, манеры, обычаи, наряды – всё чисто цыганское.

– Как забавно. – Она склонила голову, габсбургский профиль исчез. – Обещайте, что вы расскажете мне после.

Маркевич кивнул.

– Давайте же покончим сперва с вашим ремеслом письмоноши. Давненько мне не доводилось получать почту подобным образом.

Маркевич протянул ей конверт, слегка смятый от ношения в кармане пиджака, она положила его, не вскрыв, на крышку бюро.

– Мы с Шурочкой не переписывались уже бог знает сколько. Тем приятнее получить от неё весточку. Сорока ей ещё нет, верно? Она, кажется, года на три старше моего Сержа. Удивительное дело: я беседую с племянником ровесницы собственного сына.

– Ну, это стечение обстоятельств, – улыбнулся Маркевич. – У нас всего девять лет разницы.

– Всё равно. Шурочка – ангел, конечно... Я сама овдовела рано, как вам, должно быть, известно, но всё же не в двадцать два. Она поздно начала выезжать – ваша бабушка, Степан Сергеевич, была, вероятно, дамой удивительно строгих нравов. («Ещё бы», – подумал Маркевич.) Вероятно, это тоже сыграло свою роль, да-с. Она по-прежнему в имении?

– Да.

– Я бы не смогла. Ну, положим, в Петербурге ей нездорово. Москва, конечно, ужасный город, дурно устроенный и ещё хуже управляемый, но есть же Киев, Варшава, Одесса, наконец. Запереть себя в этом ужасном Прихвостневе...

– Выхвостове.

– Пусть Выхвостове. Никогда не понимала прелестей деревенской жизни. Два месяца летом на даче – ещё куда ни шло, хотя мне и этого много. Пахнет чёрт знает чем, комары да мухи, сено под ногами. И сырость, эта вечная сырость. Почему тут не сыро, а у нас – сыро? Везде, даже в кумысолечебнице под Саратовом.

– Здесь всё-таки горы, – заметил Маркевич.

– И прекрасно. Значит, надо жить в горах. У моей знакомой дача в Ливадии, зовёт меня уже лет пятнадцать, все никак не соберусь.

– Замечательное место.

– Бывали там?

– Мало найдётся в Крыму мест, где бы я не бывал. Но вы, вероятно, хотите прочесть письмо? – спросил Маркевич, вставая.

⁷ Цыгановедение (нем.).

– Бог с вами, голубчик. Ещё успею. Давайте ещё поболтаем. Кто ещё с вами приехал? Я видела какого-то натурального кавказского князя. Безобразие, что здесь нет курлиста. Приходится всё узнавать самой.

Он снова сел.

– Это господин Тер-Мелкумов. Он действительно кавказец, хотя не князь, а спортсмэн. Вы о нём, вероятно, слышали.

– Как человек может быть «спортсмэном»? Нет, ничегошеньки о нём не знаю. Кто он такой? Служит?

– Воздухоплаватель, альпинист, велосипедист, гимнаст. Отставной поручик, кажется. Собирался участвовать в Олимпийских играх, да, похоже, денег на поездку не собрал.

– И поэтому приехал в Швейцарию?

Маркевич развёл руками.

– Не могу знать-с. Господин Тер-Мелкумов не самый разговорчивый малый, как я заметил.

– Это прискорбно. Я на старости лет стала грешить одновременно общительностью и любопытством. А здесь, надо признаться, весьма богатая пища и для того и для другого.

– Расскажите мне об остальных. В качестве *quid pro quo*.

– Какой хитрец. Вы мне про одного господина Тер-Мелкумова, причём два слова, из которых я ничего о нём не поняла, а я вам про весь санаториум? Впрочем, извольте.

Луиза Фёдоровна вошла без стука. На подносе был стакан воды. Горничная извлекла из перламутровой таблетницы, стоявшей на трюмо, какую-то пилюлю и подала Анне Аркадьевне вместе с водой. Потом так же молча удалилась.

– С кого же начать? – Анна Аркадьевна осушила стакан по-мужски, залпом. – Самый интересный здесь человек – это секретарь Лаврова, так что начну я не с него. Доктор Веледницкий мне нравится. Он, конечно, человек несколько поверхностный и привыкший прятать своё презрение к человечеству за весьма посредственным остроумием, но он начитан, воспитан и хорошо одевается – единственный в пансионе человек, который может похвастаться таким сочетанием качеств. Как врач, впрочем, полное ничтожество, без конца рассуждает о прогулках и значении чистого горного воздуха. Зато любит поесть, знает толк в гастрономии и обеспечивает мне сносный стол: я, как вы, вероятно, заметили, обедаю отдельно. Вольнодумец, но осторожный. Почти в открытую живёт с мадам, что, как бы это ни показалось вам странным, мне скорее по нраву: человек не должен притворяться из ложных соображений долга и общественной морали.

– Исчерпывающе, – засмеялся Маркевич. – А Николай Иванович, с которым у вас вышла дискуссия о Чулкове?

– А, так вы уже в курсе наших маленьких склок. Господин Лавров рассказал? Он ужасный болтун. Да нет, не Скляров. Лавров. И писатель, на мой вкус, совершенно никудышный. Слишком провинциален для декадента, слишком образован для реалиста. Так, ни то ни сё. «Тени от ресниц беспощадно старили её лицо». Но, признаться, чертовски трогателен по отношению к супруге. То приносит ей шаль, то чашку чаю, то без конца выпрашивает у Веледницкого, чем именно тот её потчует. Она тихоня, но уверена, что только с виду. Ну и не его круга, безусловно.

«Она хотела сказать “не нашего”, но не уверена, что в “наш” можно записать меня. И выкрутилась прямо на лету. Генеральша, что поделаешь. Хватка».

– Она, кажется, настоящая красавица, – сказал он.

– Слишком яркая на мой вкус, – кивнула Анна Аркадьевна, – но безусловно хороша собой. Вы не знаете, где этот Лавров её откопал?

– Помилуйте, я о её существовании не подозревал до вчерашнего дня.

– Надо у господина Скларова потихоньку спросить. Вот уж кто всё про всех знает. Знаете, как его называет Фишер? «Красный попик». Он действительно ужасно смахивает на сельского иерея.

– Он сын священника. И сам учился в семинарии пару лет. До тех пор, пока его овдовевший отец не принял постриг. Юношу тут же прозвали «монаший сын».

– Ужасно. Поэтому он захотел разнести в клочья Государя?

– Никого он не хотел разнести, *votre Excellence*. Он в народ ходил. С книжками. Ну, а потом каторга, побег, впрочем, вы все это и без меня знаете.

– Как забавно, – опять сказала она и наклонила голову. – Опять рассказываете вы, а не я.

– С удовольствием возвращаю вам жезл рапсода. Давеча господин Лавров явил по поводу вовлеченности Николая Ивановича в хозяйственные дела пансиона.

– Они вообще не очень поладили, – она снова кивнула. – Господин Скларов не нашёл ничего предосудительного, что секретаря господина Лаврова разместили в комнате, выходящей на горы, рядом с Луизой Фёдоровной. Лавров назвал Скларова «отставным социалистом».

Маркевич рассмеялся.

– Я тоже нашла это забавным. А вот господин Скларов нахохлился и два дня с Лавровым не разговаривал. Госпоже Лавровой пришлось их мирить.

– А господин Фишер так и остался в задней комнате.

– Его, судя по всему, это беспокоит меньше всего. Правда, он, кажется, кашляет, а Луиза Фёдоровна находит, что в задних комнатах сыровато. Но он держится молодцом. Его полное имя – Товия Гершев Фишер. Впрочем, Лавровы зовут его Глебом Григорьевичем, так как «Товия» означает «угодный богу», а «Глеб» якобы – производное от «Готлиб», что то же самое, только по-немецки. Впервые в жизни живу под одним кровом с иудеем.

– И как вам?

– «Теперь столкнулись с нигилистом, сим кровожадным чадом тьмы». Он мне нравится, что скрывать. Он вовсе не дикарь и от него не пахнет чесноком, если вы это имеете в виду.

«Её корпулентность добавляет ей обаяния. Полные люди вообще в возрасте выглядят добрее. И её блестящий ум уже не выглядит таким вызывающим. Александрина, которая, конечно, во всём ей ровня, иначе они не смогли бы подружиться, в старости будет не такой. Будет прямой и элегантной, как бизань, но все равно – “злой старухой”, *méchante staruha*. Именно потому что сохранит свою девичью фигуру».

– Зачем брать с собой на курорт секретаря? Господин Лавров здесь работает?

– Сомневаюсь. Они с супругой много гуляют, насколько мне известно. И собирают гербарии. Господин Лавров как-то обмолвился про своё увлечение ботаникой. Позавчера он что-то пытался сушить в буфетной, пахло оттуда отвратительно. Нет, меня там, конечно, не было. Но Луиза Фёдоровна нашла запах невыносимым. Но по мне, так пусть гуляют – Фишер обычно остаётся в доме и мы с ним славно болтаем перед обедом.

– О чём, ежели не секрет?

– О, он весьма разносторонне начитан. Довольно хорошо разбирает по-английски, которого я, представьте, совсем не знаю. *Do, does, did, done*. Он привёз с собой нового Веллса и читает его мне, можете себе представить, прямо с листа и сразу по-русски.

– Смотри откуда он родом. Ежели из Царства, то его образованность неудивительна. В Варшаве есть типография Фишера.

– Насколько мне известно, *наш* Фишер откуда-то из южных губерний. И вообще, по моему, вырос в деревне. Во всяком случае, коров он не боится – а они тут, бывает, идут стадами, Луиза Фёдоровна вчера практически вскочила на изгородь.

За дверью что-то хрюкнуло и генеральша на секунду осеклась. «Интересные отношения», – подумал Маркевич, а вслух сказал:

– Ну а господин велосипедный фабрикант?

– Я думаю, он убийца.

Маркевич приподнял брови.

– Ну или клятвопреступник по крайней мере. В жизни не видела более застёгнутого человека.

– Ну, это, знаете ли, ещё не довод.

– О, у меня чутье на такие вещи, – сказала генеральша. – У него усы, как у того поляка.

– Какого поляка?

– Который травил своих жён рвотным и притворялся англичанином.

– А, Клосовский.

– Вот именно. Между прочим, он, кажется, вдовец. И кроме того, очень много ест. Луиза Фёдоровна утверждает, что после ужина он заходит в буфетную и мадам Марин там ему накрывает ещё отдельно.

– Во всяком случае, на человека, нуждающегося в укреплении нервной системы, господин Шубин не похож.

– Луиза Фёдоровна полагает, что у него нервная диспепсия желудка. Боюсь, от сверхштатных ужинов мадам Марин она только усилится.

Она взяла со столика тонкий мундштук белой кости и несколько раз провела им под собственным носом. Украдкой бросила взгляд на дверь, вздохнула, положила мундштук на место и, поняв по лицу Маркевича, что от гостя не укрылось подлинное значение этой манипуляции, неожиданно улыбнулась, второй раз после начала разговора. Маркевич ответил улыбкой же:

– В нашей колоде осталась одна карта, и это туз.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду Корвина, ваше сиятельство.

– Ах это, – улыбка сошла с её лица и она слегка передёрнула плечами. – Я его ни разу не видела. Собственно, и не имею ни малейшего желания увидеть.

Маркевич ей явно не поверил и она опять всё поняла.

– Да, вот представьте себе. Мой первый муж учился с ним в корпусе, и я не припомню, чтобы о нём когда-то говорилось.

– А остальные? Тоже безразличны к великому затворнику?

– О, это другое дело. Они-то только о нём и разговаривают. Этот ваш Корвин не кажет носа из-за двери своего домика никак не менее чем недели три, и Лавровы страшно расстроены, что они уедут, так и не взглянув на своего кумира даже одним глазом. Мы даже поспорили немножко. По мне, так он просто возомнивший о себе лихоимец. Не спорю, все эти анархисты, аболиционисты, *les communards* и прочие гайдуки – это очень интересно. Если читать об этом в «Ниве». Но иметь такого гайдука в тридцати саженях от собственной спальни – благодарю покорно. Впрочем, доктор уверяет, что выбраться оттуда невозможно – там какая-то особенная лестница. Господин Скляров вам ещё не прожужжал про неё все уши? Странно. Кажется, это вообще любимая тема его бесед. Он имеет к этой лестнице какое-то отношение: вроде бы сам придумал какой-то особенно хитрый замок или что-то в этом роде. Впрочем, я постаралась всё пропустить мимо ушей.

«Общительность и любопытство. Когда знаешь слишком много, трудно притворяться равнодушной. Впрочем, это удел всех вдов, неважно, сидишь ли ты в своём черниговском поместье или в водуазском пансионе. Новости льнут к тебе сами, как кошка к хозяйской ноге. Александрин возмущается местными сплетнями, но точно знает обо всех помолвках и, того хуже, изменах, об урожае льна, который ей нужен так же, как Фишеру ветчина, о цене на костромских выжлецов и о деликатной болезни благочинного. И тоже – не выходя из комнаты».

– А Луиза Фёдоровна разделяет ваше отношение к знаменитому соседу?

– Луиза Фёдоровна, мой друг, – сухо сказала генеральша, – разделяет отношение своей хозяйки ко всем предметам. По крайней мере, в пределах срока её службы.

Она встала, заслонив спиной фотокарточки на стенах. В ту же секунду распахнулась дверь – на пороге стояла Луиза Фёдоровна, тщедушная и маленькая, но всё равно такая же прямая и величественная, как хозяйка.

– Вас шдут внизу, Степан Сергеевич, – акцент у неё появлялся, судя по всему, только в возмущённом расположении духа.

Маркевич пробормотал что-то приличествующее случаю и вышел.

7. Мастер доступен всем людям

Оказалось, что его действительно звали, и не его одного.

– Это всё вы, – Елена Сергеевна Лаврова вытянула тонкую – только в лучевой кости, но отнюдь не в запястье – свою руку словно для поцелуя, ладонью вниз, но не направила её к губам Маркевича, а просто легонько провела по его плечу, отчего на лице Степана Сергеевича проступили ужасающие алые пятна, напрочь залив все веснушки. – Как только вы приехали, так сразу всё и получилось.

– Ну почему же именно я? – Пятна не только не проходили, но начали буквально источать жар что твоя печка-голландка. – Может, это Александра Ивановича фарт.

Александр Иванович Тер-Мелкумов курил, стоя в дверном проёме спиной к дому, чтобы никого не беспокоить дымом. Все ему были за это благодарны: табак у него был страшно вонючий, крепкий, привезённый, видимо, прямо с Кавказа, никто не знал – какой именно.

(Они с Маркевичем спустились в холл почти одновременно и застали там остальных: чета Лавровых была в тёмных макинтошах, один был довольно изящным – у него; Фишер – безучастный и какой-то усталый, и доктор Веледницкий – напротив, очень оживлённый – воевали с какими-то старыми зонтами, принесёнными мадам. Фишеру удалось, а Веледницкий махнул рукой и так и выбежал под дождь в одном жилете. Алексей Исаевич Шубин против обыкновения не сидел, а стоял, точнее – возвышался над каминной полкой. Сигара его опять была потухшей, а какие-то там зонты и плащи и вовсе, вероятно, его не интересовали. Луиза Фёдоровна белой тенью спустилась и застыла на нижней ступени лестницы – её превосходительство явно хотела быть в курсе всего. Пока доктора не было, Лаврова успела рассказать опоздавшим всё: что Веледницкий вернулся с ежедневного осмотра Корвина и Корвин вдруг попросил напомнить, кто именно сейчас живёт в пансионе; и когда Веледницкий в общих чертах – или как он выразился, *grosso modo* – рассказал, Корвин согласился их всех принять. И что дело ещё может не сладиться, так как Корвин прилёг отдохнуть, поэтому Николай Иванович караулит у Ротонды, как сказал доктор, «в передовом пакете». «В пикете», – машинально поправил её муж.)

Услыхав замечание Маркевича, Тер-Мелкумов отклеился от дверного косяка:

– Бог с вами, Степан Сергеевич, я нэвэзучий.

– Николай Иванович преисполнен пессимизма, вероятно, это от погоды. Но будем надеяться на лучшее, – доктор Веледницкий смешно стряхивал руками с себя крупные капли дождя. – Давайте-ка пока я вам вот что объясню. В качестве, так сказать, *conditio sine qua non*⁸.

Мадам вынырнула из буфетной с чашкой чего-то дымящегося. Так как не пахло ничем, Маркевич решил, что это травяной чай. Веледницкий поблагодарил, принимая. Никому другому ничего не было предложено – с другой стороны, и промок пока тоже только один Веледницкий.

– Как вы знаете, последние шесть лет я являюсь лечащим врачом Льва Корнильевича. Я не самое большое светило в мире, что скрывать, поэтому по состоянию его здоровья постоянно консультируюсь с первыми головами нашего цеха – с Крепелином, с Блейлером. Диагноз, поставленный нами совместно, звучит как *dementia praecox*, в её частном случае, а именно – *dementia paranoides* – если пользоваться классификацией профессора Крепелина, хоть её не все врачи и принимают. Как вы тоже, возможно, знаете, первые признаки этого заболевания Лев Корнильевич обнаружил у себя сам около семи лет назад. Он жил в это время в Париже, ему захотелось поговорить с русским врачом. Так – чисто случайно – в жизни Льва Корнилье-

⁸ Ввиду того что доктор Веледницкий употребляет в своей речи немыслимое количество латинизмов, их значения приведены в отдельном «Приложении» (прим. авт.).

вича появился я. Когда стало понятно, что болезнь прогрессирует, Лев Корнильевич вложил значительные средства в этот санаторий – вернее, в те руины, которые были здесь после пожара тысяча восемьсот девяносто девятого года. Он сам спроектировал Ротонду, безопасный для себя и окружающих флигель. А когда приступы участились, переехал сюда из Парижа. Последнее время его состояние если не улучшается, то может быть описано как стабильное. Однако же, – Веледницкий сделал паузу, – я бы хотел предупредить всех вас вот о чём.

– В Ротонде – если мы туда попадём – нам следует встать полукругом, так, чтобы ширма, за которой спит Лев Корнильевич, всё время была у нас перед глазами. Ни в коем случае ничего не трогайте, главным образом – книги. Разумеется, категорически запрещено подниматься на антресоли.

– Антресоли? – спросил Маркевич, оглядываясь, куда бы пристроить обувной рожок: из всех методов борьбы с влагой он предпочёл галоши, заботливо предоставленные пансионом своим постояльцам. Глянцевая их флотилия была выстроена мадам у самой двери и здорово мешала проходу.

– Всё увидите, Степан Сергеевич, всё поймёте. Площадь Ротонды невелика, но нас как раз не чрезмерное количество, чтобы тесниться. Что же ещё... Да! Иногда Лев Корнильевич одаривает своих посетителей. Это может быть и что-то ценное, например, книга из его библиотеки или фотокарточка, а может быть... ну, скажем, огрызок карандаша или кусок угля из камина. Заклинаю, ни от чего не отказывайтесь, даже если это вам совершенно не нужно. Можете просто отдать потом это мне.

Он покосился на Елену Сергеевну, которая принялась рыться в сумочке, из которой извлекла карточку Корвина. Это был самый известный его портрет, сделанный лет пятнадцать назад, растиражированный всеми иллюстрированными журналами мира и украшавший фронтисписы «Диалогов» и полного собрания сочинений. Волосы ниспадали по простой рабочей блузе, открывался высокий лоб, роскошная борода уходила за нижний край карточки, взгляд из-под густых бровей был строг и одновременно ясен.

– Совершенно исключено, – отрезал Веледницкий, предупреждая её вопрос. – Никаких автографов. То же касается книг, если вдруг кто-то имеет их у себя.

– Но почему? – ещё пять минут назад возбуждённая и почти счастливая, теперь она, казалось, готова была заплакать.

– Во-первых, потому что Лев Корнильевич считает, что подобные вещи подобает делать только артистам. А во-вторых, он сейчас выглядит совсем по-другому, – Веледницкий улыбнулся. – Вам, наверное, тоже было бы неприятно смотреть на свой портрет с неудачной причёской?

– Что значит «совсем по-другому»? – спросил Лавров.

– Три дня назад он вдруг захотел увидеть цирюльника. Здесь, в деревне, никаких цирюльников нет, но выяснилось, что Николай Иванович довольно ловко управляет ножницами. При некоторых невесёлых обстоятельствах научился. Справились, в общем, мы с ним вдвоём – видеть при этой процедуре мадам, не говоря уж о мадемуазель, Лев Корнильевич категорически отказался. В общем, те, кто рисует себе в воображении облик бунтаря с развевающейся гривой, – доктор снова улыбнулся, – будут, вероятно, разочарованы. Более всего Лев Корнильевич сейчас похож на американского шкипера.

– Доктор! – вдруг сказал Шубин. И вновь замолчал, словно за один день исчерпал годовой запас звуков, предназначенных для произнесения вслух.

Прозвучало, как ни крути, грубовато, точно полового в трактире зовёшь. Как ни странно, Веледницкий не удивился. Но ответил не сразу.

– Я помню вашу просьбу, да. Конечно, все знают, что Корвин никого tête-à-tête не принимает. Это во всех путеводителях написано. Но когда имеешь дело со Львом Корнильевичем, никогда ни в чём нельзя быть уверенным. В прошлом году он не принял ни Аксельрода, ни

Савву Морозова. Председатель общества анархо-этатистов из Нью-Йорка прожил две недели, пока все деньги не вышли, да так и уехал ни с чем. А вот мэру Эгля уделил полтора часа и позволил себя сфотографировать. Этой весной здесь – в деревне, разумеется, не в пансионе, я не держу гостиницу для поклонников Льва Корнильевича – остановился один священник из-под Тулы. Несчастное, разочаровавшееся в вере создание. Его Корвин тоже принял. И Бунин вот недавно удостоился – правда, говорил только он сам, Лев Корнильевич так ничего и не сказал, кроме «Благодарю вас», почему-то на испанском. В любом случае, думаю, что попробовать можно, но, конечно, только через меня или Николая Ивановича. Обращаться с просьбой о приватной аудиенции при других посетителях не только бесполезно, но и, так сказать, чревато.

Шубин пожал плечами и если и хотел что-то сказать, то всё равно бы не успел, потому что на террасу влетел Николай Иванович в выдавшей виды крылатке и промокнувшей насквозь шляпе с широкими обвислыми полями. Вид Николай Иванович имел сияющий:

– Господа! Господа! Лев Корнильевич проснулся и, кажется, имеет благосклонность вас увидеть. Кстати, и дождь утих, пока я сюда бежал-с. Всё, так сказать, одно к одному.

– Ну-с, – сказал доктор Веледницкий, ставя пустую чашку на столик, – *ad rem!*

8. Чьи глаза ещё не открылись

Ротонда вблизи оказалась... ротондой. Её зодчий вряд ли мог похвастаться изысканным вкусом, но основы архитектуры ему где-то преподали весьма твёрдо: из бурых американских кирпичей он возвёл на уступе скалы круглое в плане здание, увенчал его низким, точно ермолка, куполом, а остаток кирпичей отважно пустил на некое подобие пилястр – впрочем, только со стороны, видной с лестницы.

Собственно, они стояли у края пропасти, дно которой терялось в головокружительной глубине. (Лёгкий шум указывал, что там, на дне, – река или во всяком случае некий горный поток.) Но на расстоянии саженей трёх от поверхности здесь имелся полукруглый уступ в десяток шагов в поперечнике. На этом уступе и построили Ротонду, прямо на самом его краю. Если сориентировать её поперечное сечение по сторонам света, то северная, восточная и юго-восточная части внешней стены выходили прямо в бездну, а западная и юго-западная – на уступ, где образовался небольшой внутренний дворик. По оставшимся свободным краям уступа, северо-западному и южному, построили ограду из местного камня – такой высоты, что изнутри преодолеть её без посторонней помощи было невозможно – равно и как воспользоваться оградой в виде импровизированной подставки для проникновения снаружи. В общем, в итоге получился рукотворный колодец неправильной формы, половину окружности которого образовывала скала, а половину – стена Ротонды и каменные ограды. Сама Ротонда была высотой саженей в пять, возвышаясь над краем обрыва не только крышей-ермолкой, но поясом из стрельчатых окон, выходивших как в пропасть, так и во дворик. Все они, как объяснил по дороге Скляров, были наглухо заперты и мылись только изнутри, и то не чаще раза в год.

(Доктор Веледницкий составить им компанию отказался. «Не знаю уж, отчего, да только Лев Корнильевич в последнее время терпеть не может, когда мы приводим к нему посетителей вместе с Николаем Ивановичем. Прямо-таки из себя выходит. Однажды портрет Лассалья собственной работы за ограду выбросил и полную крынку молока следом. Так что я уж тут вас дождусь, да заодно и на письма отвечу». Уходя, Маркевич заметил, впрочем, что Веледницкий удалился отнюдь не в смотровую, а в буфетную, откуда уже вкусно пахло пассаруемому луком.)

Лестница, предмет гордости Николая Ивановича, была действительно сработана на диво. В откос каменной стены была вделана пара полозьев под удобным углом, они-то и служили лестнице и опорой, и средством передвижения. В обычное время она лежала на краю обрыва, делая побег из Ротонды совершенно невозможным. Когда доктор, мадемуазель или Николай Иванович навещали Корвина, то легко (даже мадемуазель) опускали лестницу по полозьям и фиксировали наверху двумя клиньями. Будучи втащенной наверх, лестница крепилась цепью к двум вделанным к скалу проушинам. Все это хозяйство фиксировалось внушительных размеров замком.

Внизу, во «дворике», царил известный кавардак. Аккурат посередине стояла однорогая шеффилдская наковальня на деревянном основании. Блестящая поверхность наковальни говорила о том, что находится она тут не в качестве декорации. Кроме того имелись здесь козлы, стол со стулом, поленница, старый шезлонг, треснувшая наискосок бочка и ещё куча всякого хлама, по большей части строительного.

Маркевич оглянулся и увидел, что их экскурсионная группа поредела: Шубин остановился на полпути между домом и Ротондой и с видимым облегчением уселся на скамью (их тут было несколько – явно установленных усердием доктора) спиной ко всем. Визит в обитель гения его, очевидно, перестал интересовать, коль скоро носил коллективный, а не индивидуальный характер. Маркевич тоже присел, правда, на валун и принялся рассеянно следить за Николаем Ивановичем, который не отрываясь смотрел на купол.

– Чем это вы там увлечены? – не выдержал Лавров.

– Сейчас-сейчас. Не торопитесь.

Ждали они недолго. Тонкая струя дыма потянулась из узкой металлической трубы, которую никто из посетителей сразу и не заметил и которая, несомненно, принадлежала какой-то печке или камину внутри Ротонды. Двух секунд оказалось достаточно, чтобы понять, что дым этот – белый.

– *Набемус рарат*, – пробормотал Лавров.

– А что именно он сжигает, чтобы гарантировать цвет? – одновременно с ним спросил Маркевич.

Скляр не ответил. Он наклонился к валуну, на котором восседал Маркевич и жестом попросил того встать. Затем без труда засунул руку под камень и извлёк ключ с прихотливой бородкой. Под камнем оказалось небольшое, невидимое снаружи углубление, аккуратно обделанное изнутри жёстью.

Лестницу опустили. Скляр сбегал по ней, не сказав остальным ни слова и не подав никакого знака, но этого и не требовалось: все понимали, что вопрос предоставления аудиенции ещё вовсе не решён окончательно и требует недюжинных дипломатических усилий со стороны Николая Ивановича.

Гости растерянно столпились около лестницы, не зная, спускаться ли им или ждать тут. «Довольно высоко», – заметила Лаврова, заглянув вниз. «Мне всё равно придётся спускаться первому, а тебе второй», – тихо сказал её муж, осторожно скосив взгляд на пепельно-серую юбку-клинку. Она кивнула.

Маркевич достал коробку с папиросами, однако, подумав немного, убрал её обратно в карман: позвать вниз могли в любую секунду. Поскольку всеобщего молчания больше никто не прерывал, Маркевич принялся изучать окрестности – вокруг были поросшие горечавкой и незабудочником отроги, бурые осыпи, не поблёкшая несмотря на август зелень трав. Правее Ротонды он заметил хорошо расхоженную тропинку, вниз она явно уходила в деревню. Вероятно, это был ближайший от пансиона безопасный путь в горы, и Маркевич подумал, что прямо с утра, ещё до завтрака, прогуляется по ней хотя бы с полчаса. Он начал прикидывать, насколько для этих целей удобны его стоптанные почти до дыр «баннистеры», когда на тропинке показалось трое. Маркевич близоруко сощурился, но и его слабого зрения хватило, чтобы безошибочно определить одного – маленького, в комично широкополой шляпе с мятой тульёй с зелёным пером; тёмную куртку вместо пояса перехватывала верёвка – как местного жителя, скорее всего проводника, а двух других, одетых чисто, спускавшихся осторожно, не отрываясь смотревших себе под ноги, – как туристов. Оказавшись на ровной почве они остановились и тот, что шёл последним, извлёк из вещевого мешка фотоаппарат. Однако более ничего Маркевич разглядеть не успел, ибо в это мгновение раздалось что-то отдалённо напоминавшее рёв гонного оленя (Лаврову), рык протодякона, прочищающего горло перед многолетием (Маркевичу), эхо камнепада (Тер-Мелкумову) и трубление шофара (Фишеру). Маркевич вскочил со своего импровизированного трона. Лаврова прижалась к мужу и громко прошептала: «Сейчас мы увидим великого человека». И они действительно увидели.

Великий человек был наг. Лишь кожаный передник молотобойца прикрывал его чресла и внушительных размеров живот. Выйдя из Ротонды и став около наковальни, Корвин установился на лежащий на её поверхности пятидюймовый гвоздь и начал время от времени примешивать к нему тяжёлый короткий молот, но удара не наносил. Отсюда Маркевич мог уже хорошо его разглядеть. Выше среднего роста, с огромными в охвате конечностями и бычьей шеей, он походил сразу на Фальстафа, Портоса и Никиту Кожемяку – но уж никак не на американского скипера, несмотря на то что подстрижен Корвин теперь был действительно коротко.

– Ух, – сказал безумец и переложил молот из одной руки в другую. – Уху-ух!

Николай Иванович замаячил в дверях, а потом тихонько вышел наружу, встал неподдельно, ничего не говоря. Увидав Склярова, Корвин резко обернулся и шагнул внутрь. (Марке-

вич бросил быстрый взгляд на Лаврову – та и не подумала зажмуриться; мускулы у Корвина были замечательные.) Николай Иванович последовал за ним, махнув призывно гостям, чтобы те спускались. Однако зайдя в Ротонду, плотно прикрыл за собой дверь, так что вся компания, спустившись (Лавров – первым, его жена следом за ним), была вынуждена столпиться во дворе.

– Ну-с, а что вы на это скажете? – спросил Маркевич у Лаврова.

На двери Ротонды был прибит герб. Правда, прибит он был вверх ногами, поэтому для того, чтобы его разглядеть, Лаврову пришлось встать к двери спиной да ещё и прекомично выгнуть шею.

– Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в лазурном поле крестообразно положены две серебряные стрелы, остриями обращённые вверх; а по сторонам их видны две шестиугольные серебряные звезды. В нижней части в червлёном поле чёрный ворон, имеющий голову, обращённую в правую сторону и стоящий на отрубе с четырьмя сучьями, двумя сверху и двумя снизу. У ворона во рту золотой перстень. Над щитом – золотой шлем с серебряной окантовкой. Вокруг щита червлёный намёт, подбитый золотом. Щит поддерживается двумя дикими обнажёнными покрытыми волосами людьми с поясом из листьев, держащими в свободной руке по дубине с уширенными концами.

– Какой талант пропадает, – тихо сказал Тер-Мелкумов.

– Это родовой герб Корвин-Дзигиткульских, – Лавров сделал вид, что не услышал. – Щитодержатели добавлены при деде – командире шлюпа «Кронштадт», знаменитом исследователе островов Тихого океана.

...Дверь открывалась идеально тихо, видно было, что смазывали любовно, тщательно.

Они оказались в единственной комнате Ротонды – разумеется, комнате совершенно круглой. Здесь царил тот тип беспорядка, который принято называть «живописным» и который иные люди, как говорят, создают вокруг себя по соображениям истинного удобства. Меблировка включала в себя покрытый не слишком чистым шотландским пледом топчан, стол, несомненно бывший когда-то обеденным, но ныне явно использовавшийся не столько для приёма пищи, сколько для работы, о чём красноречиво говорили чернильные пятна на столешнице и какие-то реторты и колбы. Стульев не было видно, зато имелось кресло, достаточно высокое и широкое, чтобы с комфортом расположиться за столом. Часть комнаты была отгорожена ширмой, однако сдвинутой таким образом, что был виден туалетный столик. На полу лежали книги и шкуры – от последних слегка пахло, впрочем, не очень неприятно.

По всей окружности стен на высоте сажени в две располагались пресловутые антресоли – что-то вроде неширокого кольцеобразного балкончика с балюстрадой из простых балясин. На антресолях до самого купола стояли книжные шкафы, разделённые только окнами.

Стены были аккуратно выбелены, но вовсе не чисты: одну из них, около стола, от пола до самых антресолей покрывали начертанные углём математические формулы, какие-то не вполне законченные рисунки и обрывки надписей на разных языках – вместе это собиралось в немного безумный, но по-своему привлекательный узор. Маркевич машинально извлёк из кармана записную книжку и начал срисовывать в неё эти странные корвиновские фрески. Цитаты он записывал скорописью, а формулы, рисунки и ноты – как есть.

– Шампольоном решили стать? – Маркевич не до конца уловил, было ли в тихом вопросе Лаврова что-то кроме ехидства.

Склярова все ещё не было и разобрать его жаркий шёпот из-за ширмы не представлялось возможным. Очевидно было только то, что говорил один Николай Иванович.

– Как-то мало тут книг, – разочарованно сказала Лаврова.

– Вероятно, он взял с собой только самые необходимые, – заметил Маркевич. – У него в Париже была библиотека в восемнадцать тысяч томов⁹.

Тер-Мелкумов присвистнул.

Фишер подошёл к столу и украдкой взялся было за лежавшую на нем тетрадь, но его быстро остановил укоризненный взгляд Лаврова. Тогда он принялся изучать стол. Здесь имела-сь вторая, маленькая наковальня, с прямоугольной станиной и двумя рогами – конусовидным и пирамидальным, а также огрызки карандашей, листы лучшей клерфонтейновской бумаги, в основном мятые или с обожжёнными углами, какой-то толстенький карманный молитвенник в чёрном кожаном переплёте, чернильница, ножницы с огромными кольцами и короткими лезвиями, мундштук, реторта, пинцет, такой тёмный, что, казалось, служил своим хозяевам уже минимум полстолетия, том Чехова на немецком языке, кресало (кремня Фишер не заметил), несколько явно старинных монет, очки без стёкол, огромный ржавый ключ, моток дратвы, надкусанная плитка табака Little Katie, оловянная пивная кружка, покрытая изнутри налётом такого цвета и толщины, что о его происхождении не хотелось и думать, серебряная ложка с трижды скрученной шейкой, несколько неразрезанных номеров Neue Zeit и «Атенеума», фри-вольная открытка, надорванная до половины, и новая пятидесятифранковая банкнота, при-шпиленная к столешнице мебельным гвоздиком.

Гости довольно быстро заскучали: затворник явно не торопился. Лавров, задрав голову, пытался разглядеть корешки книг хотя бы на нижней полке антресолей, Фишер, прислонив-шись спиной к стене (на тут же испачкавшийся о побелку пиджак он не обратил никакого внимания), о чём-то думал, незряче уставившись в пустоту перед собой. Лаврова зевнула и машинально присела на какой-то табурет. Маркевич торопливо заполнял страницы записной книжки: он и впрямь почувствовал себя археологом, которого всего на несколько минут запу-стили в погребальную камеру фараона; только бы успеть, и успеть побольше.

– Двадцать пять минут, однако, – сказал Тер-Мелкумов, пряча часы обратно в жилетный кармашек. Он тоже явно устал стоять и отошёл обратно к двери, привалился плечом к косяку.

Но они всё же успели стать в послушный полукруг, быстро и чётко, хотя занавеска рас-пахнулась так внезапно, что Маркевич едва не выронил карандашик, а Лаврова тихо ойкнула, вскакивая с табурета.

Поверх передника Корвин накинул выдавший виды шёлковый халат, однако на попытку Склярова запахнуть его и затянуть пояс ответил резким и недвусмысленным жестом. Он был по-прежнему бос и с молотом в руках.

(«Он почти таков же, каким я рисовал его себе в своём воображении. Не гигант, но атлет, тип лица скорее адриатический, чем татарский, волосы гораздо темнее, чем принято изобра-жать на гравюрах. Ни одного седого волоса. Брахицефалия, плоский затылок, продолговатое лицо с крупными чертами. Отчётливые вены на кистях рук. Взгляд вовсе не безумный, но настороженный и очень пристальный. Сильный запах давно не мытого тела, который его, по-видимому, совершенно не беспокоит. Длинные ногти на пальцах ног, но коротко обгрызенные – на руках. Буйная растительность на груди».)

Маркевич не слышал, как Скляров их представлял.

– ...с супругой. Фишер, Глеб Григорьевич, секретарь господина Лаврова. Тер-Мелкумов, Александр Иванович, лейб-гвардии Сапёрного батальона отставной подпоручик. Маркевич, Степан Сергеевич, магистрант.

Корвин наклонил голову. Теперь он был совершенно похож на быка, изучающего мата-дора перед атакой.

⁹ Подробный архитектурный план Ротонды, равно как и полный каталог обеих корвиновских библиотек, парижской и швейцарской, см. у Майендорфа в третьем томе «Corvin. Prophet Prohibited». Жаль, что за хранение этой книги ныне можно уехать очень далеко от моего маленького особняка, поэтому детали пришлось восстанавливать по памяти; надеюсь, она меня не слишком подвела.

– Я видел сон... Не всё в нём было сном. Погасло солнце светлое, и звёзды скитались без цели, без лучей в пространстве вечном; льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою... И люди – в ужасе беды великой – забыли страсти прежние... Сердца в одну себялюбивую молитву о свете робко сжались – и застыли. Перед огнями жил народ; престолы, дворцы царей венчаных, шалаши, жилища всех имеющих жилища – в костры слагались... города горели... И люди собирались толпами вокруг домов пылающих – затем, чтобы хоть раз взглянуть в глаза друг другу. Счастливы были жители тех стран, где факелы вулканов пламенели... Весь мир одной надеждой робкой жил... Зажгли леса; но с каждым часом гас и падал обгорелый лес; деревья внезапно с грозным треском обрушались... И лица – при неровном трепетанье последних замирающих огней – казались неземными... Кто лежал, закрыв глаза, да плакал; кто сидел, руками подпираясь, улыбался; другие хлопотливо сутились вокруг костров – и в ужасе безумном глядели смутно на глухое небо, Земли погибшей саван... а потом с проклятьями бросались в прах и выли, зубами скрежетали. Птицы с криком носились низко над землёй, махали ненужными крылами... Даже звери сбегались робкими стадами... Змеи ползли, вились среди толпы, шипели, безвредные... Их убивали люди на пищу... Снова вспыхнула война, погасшая на время... Кровью куплен кусок был каждый; всякий в стороне сидел угрюмо, насыщаясь в мраке. Любви не стало; вся земля полна была одной лишь мыслью: смерти – смерти бесславной, неизбежной... Страшный голод терзал людей... И быстро гибли люди... Но не было могилы ни костям, ни телу... Пожирали скелет скелета... И даже псы хозяев раздирали. Один лишь пёс остался трупу верен, зверей, людей голодных отгонял – пока другие трупы привлекали их зубы жадные... Но пищи сам не принимал; с унылым долгим стоном и быстрым, грустным криком все лизал он руку, безответную на ласку, и умер наконец... Так постепенно всех голод истребил; лишь двое граждан столицы пышной – некогда врагов – в живых осталось... Встретились они у гаснущих остатков алтаря, где много было собрано вещей святых. Холодными костлявыми руками, дрожа, вскопали золу... Огонёк под слабым их дыханьем вспыхнул слабо, как бы в насмешку им; когда же стало светлее, оба подняли глаза, взглянули, вскрикнули и тут же вместе от ужаса взаимного внезапно упали мёртвыми.

Он помолчал, потом неожиданно запахнул халат и повернулся в профиль.

– И мир был пуст; тот многолюдный мир, могучий мир был мёртвой массой, без травы, деревьев, без жизни, времени, людей, движенья... То хаос смерти был. Озёра, реки и море – все затихло. Ничего не шевелилось в бездне молчаливой. Безлюдные лежали корабли и гнили на недвижной, сонной влаге... Без шума, по частям валились мачты и, падая, волны не возмущали... Моря давно не ведали приливов: погибла их владычица – луна. Завяли ветры в воздухе немом... Исчезли тучи... Тьме не нужно было их помощи... она была повсюду...

Скляров тихо поднялся и знаком указал посетителям на выход. Мужчины откланялись. Корвин стоял, опустив голову на грудь, так и не выпуская из руки молота. Гости немного потолкались в дверях, а затем гуськом двинулись к лестнице.

– Какое величественное безумие, – сказала Лаврова, обернувшись на Ротонду. Они поднялись наверх, Скляров закреплял лестницу. – Какой мощный поток образов.

– У Байрона? – рассеянно спросил Маркевич. – Несомненно.

9. Сиди долго – достигнешь успеха

Тер-Мелкумов стоял у края террасы и, вцепившись в балюстраду, смотрел на горы. Дождь не возобновился и Се-Руж решил показаться хотя бы на полчаса, но не привлёк ничьего больше внимания: все разошлись по комнатам готовиться к ужину.

Все – да не все.

– Послушайте, Александр Иванович, вы создали мне в поезде чрезвычайно много неудобств. Если вы собрались делать вид, что мы с вами незнакомы, то можно было хотя бы подать какой-то знак. Я же выглядел совершеннейшим идиотом, когда сперва к вам бросился, а потом должен был неуклюже изображать обознавшегося человека. Спасибо, хоть по морде мне не заехали.

Тер-Мелкумов ответил не сразу, а когда ответил, не обернулся:

– Есть такое понятие – канспирация, товарищ Янский.

– Не ломайте комедию, товарищ Лекс, – Маркевич снял запотевшие от частого дыхания очки и протёр их платком. – Всё в шпионов играетесь, в Фенимора Купера. Вы же прекрасно знаете, о чём я подумал в первую же секунду, когда вас увидел, что мне нужно от вас узнать. Какая, к дьяволу, конспирация, двое русских случайно встретились в Альпах. Тут такие истории каждый день, вероятно, случаются. Хорошо. Давайте хотя бы тут поговорим, пока все в себя приходят.

Тер-Мелкумов снова ответил не сразу.

– Мой старик-отец, перед тем, как покинуть этот бренный мир, – а надо вам сказать, дорогой мой Степан Сергеевич, что было ему тогда целых шестьдесят девять лет, – очень любил рассказывать одну и ту же историю. Признаться, она всем нам тогда порядком поднадоела. Он рассказывал её при каждом удобном случае: на похоронах, на свадьбах, на крестинах, на Вардавар и на день святого Саркиса, одним словом, всякий раз, когда находился хотя бы один слушатель. Я так часто её слышал, что запомнил почти наизусть. Принесите себе стул из столовой, дешёвые все сырые.

Маркевич, однако, остался стоять и только закурил папиросу.

– «В Константинополе у самого акведука Боздоган жил в незапамятные времена один армянин. Был он не молод и не стар, не худ и не толст, не высок и не низок. Всю жизнь он служил приказчиком у одного крупного торговца абрикосами, как когда-то его отец служил приказчиком у отца этого торговца. Купцы эти были османами, принадлежали к уважаемой фамилии, поставляли сухие фрукты в гарем. Этим как раз и занимался наш армянин. Два раза в месяц он приезжал на главный склад и лично отбирал лучший товар: крупную, слегка блестящую, цвета старой бронзы курагу, кайсу, наоборот, самую светлую и как бы матовую, и, наконец, редкостный даже для Константинополя аштак – целый абрикос, у которого перед сушкой удаляют косточку, из косточки извлекают ядро и вкладывают обратно в плод. Закончив отбор, приказчик наполнял абрикосами специальные корзины, большие, с двойными крышками, а затем следил, чтобы корзины аккуратно заворачивались в шали. И корзины, и шали, разумеется, всякий раз были новыми – но на эти расходы никто не смотрел, потому что поставлять фрукты в гарем это большая честь. Затем корзины грузились в повозку, всегда начисто вымытую и вычищенную, и наш приказчик лично усаживался за возницу.

Дальше Ворот Приветствия его, конечно, никогда не пускали, да у него и в мыслях не было, что можно проехать вглубь. Плосколистые служки в чистых халатах снимали одну за другой корзины под надзором стражников и сопя тащили их через Второй двор, направо, к кухням. Через несколько минут появлялся младший кухонный евнух – такой толстый и безобразный, что отворачивались даже стражники, и совал в руку армянину маленький кошелёчек

с серебром. Деньги эти не покрывали даже стоимость корзин, не говоря уж о шальных, но ни нашего армянина, ни его хозяина это не волновало – честь дороже.

Так продолжалось месяц за месяцем, год за годом. Всё чаще и чаще стражники ленились подходить к самой повозке, оставаясь в благословенной тени платана. Служки, всё более толстые и неповоротливые, считали уже необязательным собственноручно стаскивать корзины и волочь их внутрь кухни. Наш армянин с лёгкостью стал делать и то и другое. Затем его стали пускать вглубь Второго двора уже на повозке. К нему привыкли в кухне, не удивлялись, сталкиваясь с ним в одной из многочисленных клетушек, из которых, собственно, эти кухни и состояли. Пару раз стражники замечали знакомую тележку уже глубокой ночью, после того, как запирались ворота, но их сонные заплывшие глаза равнодушно скользили по ней, не останавливаясь.

Однажды ранней весной армянин уехал на несколько дней куда-то под Муш и привёз оттуда испуганного мальчишку, такого маленького и тощего, что никто бы не дал ему и тех одиннадцати лет, которых он был на самом деле. Пару месяцев он откармливал паренька, не выпуская из дома, потом начал потихоньку приучать к делам. Мальчик, когда отъехал и освоился, оказался на диво бойким и сообразительным, быстро стал заводилой детских игр в своём околотке (игр, впрочем, редких, ибо работы у приёмного отца хватало), обезьянничал на Базаре, в надежде заработать мелкую монетку от хохочущих купцов, а то и стянуть что-нибудь, что плохо лежит.

В канун курбан-байрама, в день Ариффе, армянин приехал к Воротам Приветствия необычно рано. Лето в тот год вообще оказалось странно прохладным, а на заре было попросту зябко. Конечно, никто не вышел ему навстречу. Армянин стащил несколько корзин и поставил их у платана, а последнюю, самую большую и, вероятно, очень тяжёлую, затащил волоком внутрь. Он пропёр её через три кухни, а затем свернул в крошечный, занавешенный закуток, где обычно были свалены сломанные мётлы и щётки, помятые кумганы и подносы, гнутые ложки и прохудившиеся чаны. Пару раз в месяц сюда наведывался лудильщик, но последний раз он был здесь позавчера. В этом закутке армянин поставил корзину, а сам сел на пол рядом, предварительно задёрнув занавес.

Так он прождал ровно двадцать два часа.

Иногда он просовывал под шаль, прикрывавшую корзину, несколько обломков засохшей лепёшки, а тыква с водой, судя по раздававшимся из корзины звукам, там была с самого начала. Наконец, армянин отдернул покрывало и не говоря ни слова, ткнул указательным пальцем в тёмный коридор; мальчик из-под Муша гибкой тенью скользнул вглубь. Выждав ещё с четверть часа, он поднялся с пола сам и двинулся в сторону Ворот Счастья, которые соединяли своими крыльями западную и восточную стены Топкапы. Несколько минут он почти полз, каждый миг опасаясь стражников, но в ту пору в халифате царили мир и благоденствие – а мир и благоденствие наиболее споспешествуют бунтовщикам и убийцам.

Он пересёк таким образом Второй двор и, свернув направо, оказался во дворе Третьем, где если бы его просто поймали – его, уважаемого приказчика, известного не только младшему, но и старшему кухонному евнуху, почтенного горожанина, не заподозренного ни в чём предосудительном и ничего предосудительного не совершившего, – то без затей посадили бы на кол в присутствии дворцовой стражи, из которой впоследствии выпороли бы каждого второго, и они ещё должны были бы благодарить Всевышнего за такой исход.

Армянин неплохо ориентировался в этой части дворца, но иногда всё же откидывал полу халата, чтобы свериться с грубым чертежом, который он составлял, так или иначе, почти восемь лет. Но в этом не было нужды – он безошибочно добрался до нужной комнаты. Она была совершенно неотличима от остальных в этой части дворца – стены затянуты шёлком по дурацкой румийской моде, на полу мрамор, единственное окно и днём-то не пропускает света, а ночью – нечего и говорить. Узенькая дверь выходила на некоторое подобие балкона, и выйдя

на него, армянин задрал голову вверх: прямо над ним было ещё окно и ещё один балкон, но добраться до него было немыслимо – без посторонней помощи, разумеется. Армянин тихо свистнул и где-то далеко наверху, почти невидимая в слабом свете луны появилась лохматая голова и через секунду к ногам армянина упала верёвочная лестница.

Бог знает, сколько времени он, сопя, взбирался по ней, преодолевая эти несчастные восемь локтей высоты. А когда он всё-таки добрался, то увидел на балкончике своего приёмного сына, ухмылявшегося ему своею обычною беззубою ухмылкой. Армянин молча и властно указал мальчику на крышу, и тот, насупившись сперва, всё же послушался и исчез, гибкий, как кошка, и незаметный, как Азазил. Армянин постоял с минуту и решительно толкнул избороченную створку окна.

Он не различал ничего в кромешной темноте, но глаза скоро привыкли, и среди мраморных плит, шёлковых занавесей и толстой шерсти ковров он разобрал в углу тёплую лежанку, а на ней – грудю одеял, образовывавших своеобразный холм, довольно таки крутой. В подошву этого холма, которая была обращена, по разумению армянина, к Мекке, он и вонзил свой узкий гератский кард.

Он рассчитывал, что спящий, опоённый гашишем – армянин точно знал, что тот ежевечерне его принимает – с перерезанным горлом толстяк умрёт тихо, позорно хрюкнув и захлебнувшись собственной тёмной кровью. Но армянину не повезло, и в последние песчинки жизни его жертва заревела утробным смертным рёвом – и тем выдала своего убийцу.

...Его поместили в тюрьму Румели-Хасер. Ислам не одобряет пытки – но для иноверца можно ведь сделать и исключение. Тем более для иноверца, убившего самого кызляр-агу, главного евнуха, хозяина гарема. Мучали его недолго – армянин был хотя и физически крепкий, но изнеженный, он с детства не выносил боли. Два раза его избили прямо в узилище – бамбуковыми палками и толстыми плетёными кожаными дубинками, которыми так славится Яффа, один раз спустили шаровары и прислонили к заднице бычий рог, просто дотронулись, не более – и он им всё рассказал. Как десять лет назад он приехал в Татван, на родину отца, ещё молодой и худой и куда более горячий. Он хотел жениться и знал, на ком: дочь местного священника как раз входила в брачный возраст, это была уважаемая семья, всегда тесно связанная с его собственной семьёй. Наш армянин собирался нанести священнику торжественный визит, но, к его невероятному удивлению, тот пришёл к нему на постоянный двор сам, накануне поздно вечером. Священник был краток: брак не может состояться. Армянин ничего не понимал. И тогда священник рассказал ему. «Знаешь ли ты, что у тебя была старшая сестра?» Армянин остолбенел. Нет, он этого не знал. «Ещё до твоего рождения, когда твой отец жил здесь. Однажды она пропала. Твой отец всем рассказал, что она сорвалась со скалы, когда они возвращались из Битлиса, поэтому он уезжает из нашего города в столицу, не в силах больше жить здесь, где всё напоминает ему о дочери. Но всё это было неправдой. Много лет спустя старый Гегам, служитель битлисского караван-сарая, вернувшийся умирать в наши края, рассказал, что в ту самую пору, когда пропала твоя сестра, в Битлис приехал караван из Константинополя, а с ним – огромный молодой арап с озера Борно. Поползли глухие слухи, что этот арап – новый кызляр-ага и эта поездка – его первая на новой должности. Твоего отца видели около караван-сарая, где остановился арап, видели, что из Битлиса он выехал уже один. Он продал твою сестру в гарем. Его счастье, что он догадался сразу же уехать отсюда, иначе ему бы не смыть этот позор вовеки. Я не могу отдать свою дочь за сына человека, который торгует своими детьми».

Армянина повесили за ребро прямо во дворе Румели-Хасер. Свидетелей тому не должно было быть, но, говорят, что одна пара мальчишеских глаз всё же видела последние минуты жизни бывшего приказчика абрикосовой лавки. Он стоял посреди пыльного двора совершенно счастливый и лицо его навсегда запечатала улыбка человека, достойно выполнившего свой долг».

– Как умер мой отец? – спросил Степан Сергеевич Маркевич.

– Насколько мне известно, в точном соответствии с полученными указаниями. Человек, которому вы доверяли, трижды навещал вашего отца в течение недели в «Метрополе», что в доме Лалаева. На Врангельской, знаете? Там ещё раньше было Благородное собрание.

– Допустим. Продолжайте.

– Человек, которому вы доверяли, вёл с вашим отцом исключительно приятные для слуха обоих собеседников разговоры. Наконец, в воскресенье они отправились в Балаханы, смотреть тот самый участок, так не задорого и чисто случайно доставшийся человеку, которому вы доверяли, и на каковом участке, согласно результатам геологических изысканий, непременно должна быть нефть. В понедельник они собирались оформить переуступку прав в пользу вашего отца.

– Они что, поехали вдвоём?

– Нет, отчего же. Их сопровождали десятник Каталин и возчик Али Тагиев, которого посоветовал ваш единокровный брат. По дороге человек, которому вы доверяли, предложил осмотреть одну из нефтяных ям, точно такую же, какую скоро выкопает на деньги вашего отца на свежестроенном им участке. Ваш отец был впервые в Баку и, конечно, с охотой согласился. Их бричка долго петляла среди, казалось бы, совершенно одинаковых ям, пока десятник не сказал: вот такая подойдёт. Они подошли к яме – вокруг по случаю воскресенья никого не было, даже сторож куда-то пропал – и ваш отец заглянул в неё. Вряд ли он успел что-то разглядеть, потому что в это мгновение человек, которому вы доверяли, выстрелил ему в спину. Ваш отец упал в яму, а убийцы вернулись на бричке в город и разошлись. Человек, которому вы доверяли, пришёл к вашему единокровному брату, вернул ему револьвер и получил билет до Астрахани, куда и убыл на следующее утро. Больше мне ничего не известно¹⁰.

– Где же был сторож?

– Мертвецки пьяный спал в своей каморке. Много ли татарину надо? Али Тагиев знал, кому подсылать своих дружков-абреков. Когда обнаружили тело – как и предполагали убийцы, через несколько дней и то случайно, ведь на самом деле яма была давно заброшена, – сторож так перепугался, что чуть было не взял вину на себя. Но это было бы уже чересчур, и в городе появились листовки от имени Кавказской боевой организации федерал-социалистской партии, в которых сообщалось о «казни» очередного «врага трудового народа».

– Социал-федералистской, – машинально сказал Маркевич.

– Ну ашыблыс ребята немного, – ухмыльнулся Тер. – Какая разница, раз это всё равно выдумка. Но хорошая выдумка, нужно использовать при случае.

Они помолчали. Дверь на террасу приоткрылась и в ней показалась голова Николая Ивановича. «Ну где же вы? – крикнула голова. – Нехорошо к столу опаздывать!»

– Я всё же не понял соли вашей сказки, Тер, – сказал Маркевич. – Главный евнух здесь – вовсе не виновник страданий вашего армянина. Он всего лишь инструмент, пешка в руках обычая.

– Вы действительно ничего не поняли, – грустно сказал Тер-Мелкумов. – Армянин должен был отомстить. Но не мог же он убить собственного отца?

¹⁰ Уже после революции стало известно, что десятник Каталин после акции запил на две недели, а проспавшись, поплёлся прямиком в полицию. Только невероятным везением Тера, везением, которое изменило ему только в самом конце жизни, можно объяснить, что ему удалось уехать из России в начале лета, в то время как если не его имя, то его словесный портрет был у охраны уже чуть ли не с месяц.

9. Из дневника Степана Маркевича

1/VIII-1908

На ходу. Всё это имеет вид какой-то скверно разыгранной комедии. Складов, пересекающий гостиную, плотоядно оглаживает жилет. Фишер выходит из общей уборной первого этажа, но звука воды не слышно. Лаврова (из столовой, громко) требует от мужа толкования давешнего корвиновского бреда. Он, разумеется, безумен. Но не более безумен ли Тер?

10. Что ты делаешь! Что ты говоришь

– Вот вы давеча сказали – *dementia praecox*, – сказал Борис Георгиевич Лавров в самом конце ужина, сегодня порядочно запоздавшего из-за визита в Ротонду и потому особенно невкусного; от вечернего чая все и вовсе дружно решили отказаться. – И что же это за заболевание в целом?

– Это вопрос одновременно простой и сложный, – сказал доктор Веледницкий, присоединившийся на этот раз к постояльцам аккуратно к десерту. – Простой, потому что различие между формами слабоумия теперь преподают даже на фельдшерских курсах. Сложный – потому что, как я уже сказал, общепринятой классификации нервных болезней до сих пор не существует. Великий Морель пятьдесят лет назад описал «раннее слабоумие» – «раннее» в данном случае противоположно понятию «старческое», но он был в плену ошибочных теорий о дегенеративном вырождении человечества и описанную им болезнь считал составной частью этого вырождения. Я употребляю термин *dementia praecox* так же, как его употребляет мой учитель Блейлер, – суть слабоумие приобретённое и не имеющее притом ничего общего с тем типом помешательства, которое Крепелин описывает как «маниакально-депрессивный психоз». Повторю – к терминам, которые я употребляю, нельзя относиться как к абсолютной истине, ибо нозология в нашей области медицины находится ещё в зачаточном состоянии.

Никто ничего не понял, но только Лаврова расписалась в этом, недвусмысленно зевнув.

Веледницкого, однако, это совершенно не смутило.

– О чём мы говорим в первую очередь? Об упадке умственных сил. И чем сильнее, мощнее, ярче был ум здорового человека, тем, конечно же, ярче его деградация. Бред, галлюцинация, частые и бессистемные перепады настроения, утрата гигиенического самоконтроля – вот с чем нам пришлось столкнуться. Вместе с тем нельзя сказать, что ничего не делается и – главное – что ничего нельзя сделать. Да, исцелить и даже хотя бы немного замедлить течение болезни мы пока не в силах, – но вы видели сегодня, что Лев Корнильевич пребывает в состоянии неопасном для окружающих и вовсе не совершенно пропал в умственном и нравственном отношении.

– Это, вероятно, и было одним из перепадов его настроения, – заметил Маркевич.

– Совершенно верно. Но и в настроении противоположном Лев Корнильевич отнюдь не буен, что бы там ни писал этот негодяй из «Телеграма», которого, к слову сказать, я даже не порог не пустил и всю свою пачкотню он сочинил, не выходя из «Берлоги».

– «Берлоги»? – переспросил Маркевич.

– Местная гостиница с ресторацией, – ответил Лавров. – Вообще-то она называется «Медвежья обитель». Весьма недурной погреб, между прочим.

– Борис Георгиевич! – в притворном ужасе воскликнул Веледницкий.

– Умолкаю, умолкаю, – улыбнулся Лавров.

– Перепады настроения? – спросил Тер-Мелкумов. – А в чём они ещё проявляются?

(Он отчаянно страдал от стола в «Новом Эрмитаже», больше всех остальных, и мучительно старался не подавать вида. Даже в Петербурге и Берлине он умудрялся питаться если не одной только бараниной – известно, что немцы баранины не едят, а Петербург это те же немцы, только крестятся справа налево, – то хотя бы наполовину бараниной и говядиной, которую Тер ел по-американски, почти сырую. Он привык получать на завтрак бифштекс с яйцом, на обед – как минимум половину курицы и картофель по-пушкински и пирожки, на ужин – хотя бы суп или тушёное мясо с овощами. Здесь же не было ничего из вышеперечисленного, и Тер всерьёз размышлял, будет ли удобно время от времени исчезать в эту самую «Берлогу» – уж похлёбку на косточке там всяко должны подавать.)

– Было бы верхом бестактности подробно углубляться в подобные вопросы, – мягко ответил Веледницкий. – Но несколько вещей – из числа предметов, не относящихся к интимным, – я всё же упомяну. Например, Лев Корнильевич стал ранней пташкой. Один из его старых друзей и первых биографов, итальянец Ги, однажды появился сюда на закате, будучи убеждённым, что именно в это время Корвин его примет – ведь Ги твёрдо помнил, что ещё сравнительно недавно его друг ложился спать перед рассветом, а вечер и первая половина ночи были самым продуктивным его временем. Увы! Нынче Лев Корнильевич подымается до рассвета. Или вот ещё странность. Он сделался левшой. Буквально года полтора назад. Вдруг ни с того ни с его стал писать левою рукою, да так бойко!

– И что же, правую совсем перестал пользоваться? – спросила Лаврова.

– Практически.

– Как интересно!

– Есть ещё более поразительные вещи. Всем известно, что Корвин отличается исключительной физической силой, которую с молодости поддерживал специально разработанной системой упражнений. Один американец в своё время выведал подробности этой системы и издал книжку, на которой недурно заработал. Так вот. Недавно мне пришлось выписывать пару рабочих, чтобы те передвинули мебель в Ротонде в соответствии с желаниями её обитателя. Я был немало удивлён, так эту мебель – вы видели, какая она основательная и тяжёлая, – Лев Корнильевич в своё время либо сработал сам, либо заказал по собственным чертежам. И уж, конечно, поселяясь в Ротонде, он всё это не очень движимое имущество расставлял собственноручно, ибо имел к этому и силу и желание – институт прислуги всегда был ему в тягость. Теперь же он недвусмысленно дал мне понять, что не в силах больше даже поменять местами кресло и пуф.

– Может быть, это то, что принято называть «старостью»? – заметил Маркевич.

– Нимало! – живо возразил Веледницкий. – Он, как вы заметили, легко управляется со слесарными инструментами, где нужны и глазомер, и точность, и ловкость, но его природная мощь, увы, более ему не нужна.

– Зато ему вдруг понадобился греческий язык, – вставил Скляров.

– Новогреческий? – спросил Маркевич. – Он же им превосходно владеет.

– Точнее, он более-менее владеет димотикой, простонародным, уличным греческим, языком рыбаков, контрабандистов и торговцев арбузами, – сказал доктор Веледницкий. – Кафаревусу же, высокий новогреческий, язык газет и парламентских дебатов, он как следует не понимает, ведь там, где он учился в молодости – на фелюках и базарах, – так никто не говорит. Я же вообще говорю о языке Платона и Аристотеля. Какового Корвин не знает и надобность в изучении которого всю жизнь с жарким упорством отрицал.

– Да, это известная история, – подтвердил Лавров. – Он считает древнегреческую философию порочной и тупиковой, а искусство той эпохи – пусть и прекрасным, но мёртвым. И потому не нуждающимся в том, чтобы на него тратить время.

– Совершенно верно. А вот давеча я обнаружил в списке заказываемых им книг – он время от времени передаёт мне листочек, и непременно карандашом – учебник Шенкля-Кремера.

– В чём же заключается лечение? – спросил Маркевич, когда все замолчали, обдумывая внезапно проснувшуюся страсть Корвина к учению.

– Увы, – ответил доктор, – исключительно в изоляции. Крепелин советует тёплые ванны, но Лев Корнильевич, к сожалению, впал, так сказать, в гигиеническую схизму и категорически уклоняется от водных процедур.

Мадам, будто сгустившаяся из воздуха, с бесцеремонностью, на которую никто не обратил внимания, сняла у доктора со скатерти прибор и довольно неожиданно добавила:

– Вот уж верно сказано: уклоняется. Если так пойдёт и дальше, придётся мне носить ему еду. Козочка страсть как боится: мало того, что похож на чёрта, так ещё и разит на две лиги. Сегодня опять вернулась чуть не плача.

Сделав это не слишком вежливое по отношению к самому знаменитому постояльцу пансиона замечание, мадам принялась убирать и остальные тарелки, не дожидаясь, пока гости встанут из-за стола. Впрочем, через пару минут за ним остался один Маркевич, рассеянно вертевший в руке спичечный коробок, с которого, казалось, он не сводил глаз. Веледницкий снова куда-то исчез, Лавров и Тер, стоя около массивного, тёмного старого дерева буфета, оживлённо вдруг заспорили о сравнительном качестве богемских и кавказских минеральных вод, Фишер напряжённо изучал сквернейшую из когда-либо созданных копий «Мадонны в скалах» на стене (мизинец Божьей Матери норовил лишить ангела правого глаза), Лаврова стояла за его спиной, кусая то губы, то кончик шифонового шарфа. Шубин двинулся было на свою любимую террасу, но застрял на пороге, сосредоточенно взясь с сигарным ножом – сама сигара на этот раз торчала из жилетного кармана. Потом он просто сел на козетку, не отвлекаясь от своего занятия. Тенью мелькнула Луиза Фёдоровна (Маркевич уже знал, что ей, как и её хозяйке, накрывают отдельно – но позже всех, и не в комнате, разумеется, а в буфетной). Скларов стоял точно посередине столовой и всем своим видом изображал страдание – Маркевич догадался, почему, и одобряюще улыбнулся старику, тот, заметив, комично развёл руками. Так прошло ещё минут десять. Наконец, Скларов не выдержал и решительно сделал шаг к Шубину:

– Алексей Исаевич, а вы ещё не видали закат над Се-Руж?

Это сработало. Шубина – Маркевич это буквально читал у него на лице – никакие закаты, кроме заката бессемеровского способа сталеплавления, не интересовали, но он понял это по своему: прислуге нужно убираться в столовой, а он мешает. Шубин безропотно встал и потопал на террасу. Лаврова же, напротив, пришла в некоторое возбуждение.

– А мне вы отчего никогда не говорили о закатах? – в её голосе был и упрёк и почти детская обида.

– Так дождь же всё время, – извиняющимся голосом ответил ей Скларов. Лаврова ринулась вслед за Шубиным, едва не сбив с ног вплывавшего в столовую Веледницкого. Её муж с недоумением обернулся, отвлекаясь от спора, и она не дала ему к этому спору вернуться:

– Дорогой, ты что же, не составишь мне компанию? Пойдём же смотреть закат, Николай Иванович говорит, что завтра опять всё обложит.

* * *

– Товарищи! – сказал Антонин Васильевич Веледницкий, когда они, наконец, остались впятером. Отутюжен и свеж он был до самой последней степени. Каштановый пиджак, приталенный и с удлинёнными бортами, сорочка со стоячим воротником, васильковый шелковый галстук и даже бутоньерка. Крошечную рюмку зелёного стекла он держал в правой руке. – Товарищи! Думаю, что этот шартрез – если он будет первым и последним для вас в этом пансионе – никому не повредит. Надеюсь, не повредят и несколько банальностей, которые вы сейчас услышите. *Aliquando bonus dormitat Homerus*. Много лет я мечтал построить этот дом. Дом, в котором мои товарищи по борьбе, по нашему общему делу, смогут найти краткий отдых между боями. Путь, который мы все выбрали, оставляет мало времени для себя. За этим столом нет ни одного человека, не мёрзшего в ссыльной избе, не подхватившего воспаление лёгких в доме предварительного заключения, не подвергавшегося изощрённейшим издевательствам на допросах. И это я ещё не говорю о товарище Фишере и о дорогом нашем Николае Ивановиче, на долю которых выпадал и Александровский централ. Но хотя страдания – это сторожевой крик жизни, если верить классикам, жизнь не должна состоять только из них. Мрачное величие духа может привести к безумию, о чём именно здесь, как вы понимаете, задумываешься

особенно часто. А революцию нужно делать весело. Вы все нужны будущей российской республике бодрыми и свежими... потому, собственно, вы и в этих стенах. Товарищи! Как же, черт побери, приятно мне обращаться к вам так, открыто и вслух, пусть даже только тогда, когда мы остались в своём кругу. Я знаю, многие пеняют мне за то, что я держу свой пансион открытым для всех, не делаю различия между соратником по борьбе и какой-нибудь сволочью при галунных петлицах с двумя звёздами. Что ж. Всё так. Но! Во-первых, я врач, и помогать страждущему это просто мой долг. Это мне твёрдо преподали ещё в ветеринарном институте. Во-вторых, – он улыбнулся, – я всё же вижу разницу, и её увидел бы всякий, кто сравнил бы те счета, которые получает в конце пребывания от меня эта чистенькая публика и те, которые получите вы. Это делается *ad usum vitae*, так сказать. *Ergo bibamus! Bene valete!* – и Веледницкий медленно выцедил рюмочку. Все, кроме Фишера, последовали его примеру.

Чай из посеребрённого английского чайника разливал Николай Иванович, он же оделил всех сухим печеньем, тоже английским.

– Антонин Васильевич положил глаз на генеральшин самовар. А по мне, ничего лучше чая по-английски и быть не может. Гончаров ни черта не понял в своей «Палладе», цветочки нежные ему подавай. Чай должен быть как дёготь, тогда он и телу бодрость даёт, и духу крепость. Но для этого надобно-с в Лондоне пожить. Только бритты и турки в чае понимают, не русские, нет-с. Кстати, расскажите же про Константинополь, Александр Иванович!

Тер-Мелкумов, как обычно, ответил не сразу.

– Мне немногое удалось увидеть. Во всяком случае, того, о чём вы не прочтёте в газетах. Те, кто говорил, что Абдул-Гамид после восстановления конституции не жалец, пока посрамлены. Цензура действительно отменена, а вот запрет на наущничество, кажется, одна лишь фикция. Я сидел в кофейне у вокзала Сиркеджи с товарищем Субхи – помните, Антонин Васильевич, его по Парижу? Он сейчас работает в газете «Хак», терзает всякую феодальную нечисть. Так вот, не прошло и пяти минут после нашего прихода, как у дверей стали тереться характерные рожи в искусно потёртых халатах. Спрашивается, откуда взялись? Каваджи донёс, конечно.

Он плеснул себе ещё чаю.

– Но кое-что важное всё-таки происходит. Многие эмигранты возвращаются, например, как товарищи Субхи и Неджат. Кое-где открыто собираются рабочие, хоть их мало там, конечно. Говорят, французского консула поколотили на Пере.

– За что же? – спросил Маркевич.

– Он ударил тростью водоноса: тот, видите ли, его толкнул. Собралась толпа, французiku крепко досталось, – Тер-Мелкумов даже зажмурился на секунду от удовольствия, которое доставила ему мысль об этой картине. – Товарищ Субхи рассказал, что полиция долго не спешила на выручку, а когда попробовала вмешаться, то досталось и ей.

– А этот Субхи, он кто? Социалист? – спросил Скляров.

– Да чёрт их там разберёт. Если у турка всего одна жена – турок уже, считай, социалист. Нет там настоящих социалистов, товарищ Скляров. Пока нет. Среди армян вот есть, среди греков, естественно, среди болгар. Вот скажите мне, товарищи, в нашей будущей российской республике какой-нибудь Витте может быть председателем совета министров?

Все рассмеялись, даже Фишер.

– Вот видите. А в Турции после того, что мы тут, в Европе, гордо называем «революцией», великим визирем стал Мехмед-паша. Обычный совершенно паша, толстый и жадный. Был великим визирем уже много раз и вот стал снова. Стоило бунтовать.

– *Agere sequitur esse*, – заметил Веледницкий. – Витте не Витте, но на местах нам много среди кого придётся искать попутчиков. И среди земцев, и среди критично мыслящих интеллигентов вроде Лаврова и даже, чем черт не шутит, среди чиновников. Не могут же все чиновники поголовно быть мерзавцами?

– Среди городских ещё поищите, – зло сказал Фишер. – Или среди прогрессивного купечества. Вон у вас один такой модернист как раз столуется. Очень развитой господин, сигару с нужного конца откусывать умеет.

– Ну и чем вам плох господин Шубин, Глеб Григорьевич? Только своими миллионами? Так их у него уже не будет. Конфискуем-с. А вот природный ум, предприимчивость, находчивость, смекалку, деловую хватку конфисковывать мы отнюдь не будем, а поставим на службу нашему делу. Или вы думаете, что пролетарьят вот так вот раз – и начнёт управлять фабриками?

– А почему нет? – спросил Фишер. – Какого-то вы невысокого мнения о русском рабочем классе. Образования не хватает? Обучим. А точнее, сами научатся, когда нужда придёт. Как в пятом году стрелять научились. Рабочий человек, если надо, о-очень ловко все на лету схватывает, знаете ли. Да и то дело: раз освоил токарный станок, то с фабрикой как-нибудь управится.

– Для члена партии эс-эр у вас удивительно передовые взгляды, – заметил Маркевич.

– Я бы попросил вас, Маркевич, воздержаться от подобных колкостей если не в мой адрес – я отчего-то явно не даю вам покоя, – то по крайней мере в адрес моей партии. Тем более что я не могу ответить вам – вас-то изо всех партий попёрли!

Маркевич, однако, совершенно не обиделся.

– Осталось к вам податься, Фишер. Да, боюсь, не возьмёте. А то ведь буду единственным эсером, умеющим запрягать лошадь.

Все заулыбались, глядя в чашки и стараясь не смотреть на Фишера, бешено сжавшего в кулаке костяную рукоятку десертного ножа. А потом Тер сказал:

– Нэ обязательно к эсэрам, Степан Сергеевич, нэ обязательно. Мало ли революционных партий.

– Мало, – раздражённо сказал Фишер, тоже ни на кого не глядя. – Может быть, вообще одна.

– Вы не правы, Глеб Григорьевич, неправы по обоим вопросам, – сказал Тер. – Особенно сейчас, когда свирепствует реакция и партии, так сказать, «старые», в основном зализывают раны в подполье или полуподполье, на сцену выходит очень интересная молодёжь. Создаёт свои организации, никак не связанные ни с социал-демократами, ни с социалистами-революционерами.

– Это кто же, например? – спросил Скляров.

– Да вот хотя бы федерал-социалисты, – ответил Тер и посмотрел прямо в глаза Маркевичу.

– Впервые слышу, – буркнул Скляров.

– И я, – сказал Веледницкий.

– Что-то припоминаю, – сказал Фишер. – Казнь какого-то генерала. В Тифлисе. Верно?

– В Баку, – ответил Тер. – Князь Ирунакидзе. Они появились весной – и сразу в нескольких местах. В Киеве, на Кавказе, в Полесье.

– А что у них за программа? – спросил Веледницкий.

– Понятия не имею, – ответил Тер.

– Убийство князей – сама по себе прекрасная программа, – сказал Фишер. – Как они его, бомбой? Не знаете?

– Из револьвера, – ответил Тер. – Как я слышал, в упор, между лопаток. Тело скинули в нефтяную яму.

– Замечательная картина, – сказал Фишер.

– Что вы говорите, что вы говорите, – воскликнул Скляров. – На дворе одна тысяча девятьсот восьмой год! А я как будто у Перовской на Второй Роте! Вся история нашей борьбы доказывает бесперспективность индивидуального террора – особенно против мелких сошек. В России должно быть пять тысяч генералов – всех собрались переубивать между лопаток, Глеб Григорьевич?

– И не только генералов, дорогой товарищ Скляр, – зрочки Фишера сузились. – Всю буржуазную сволочь сметём, если понадобится. По одиночке ли, скопом – там видно будет.

Веледницкий решительно потянулся к бутылке и быстро налил всем по второй рюмке:

– Ну-ну, не горячитесь, друзья. Я ведь здесь не только хозяин, но и лекарь болезней нервных. Будете ругаться, запру в четырёх стенах, – он улыбнулся. – Разрешаю ещё по одной.

– Среди нас нет чистоплюев, Глеб Григорьевич, – добавил он, когда все осушили рюмки. – Но ваш радикализм, уж извините, немного отдаёт узостью. Да и кажется мне немного наигранным, если честно. Вот вы служите у господина Лаврова – я понимаю, нашему брату эмигранту порой тяжело приходится, а секретарь у прогрессивного литератора это вовсе не плохо – и вроде бы не испытываете ни моральных страданий, ни желания насыпать ему в утренний кофе битого стекла.

– Почём вы знаете, – буркнул Фишер. Спор, однако утих. Веледницкий постарался закрепить успех и заговорил о погоде.

– Шарлемань уверил меня сегодня, что завтра должно проясниться. Так что все желающие лезть в горы смогут это сделать.

– Кто это, Шарлемань? – спросил Маркевич.

– Ах да, вы его ещё не видели. Местный горный проводник. Его зовут Шарль, Шарль Канак, но Николай Иванович остроумно прозвал его Шарлеманем – он очень маленького роста. Мои постояльцы всегда пользуются его услугами, потому что он, во-первых, безукоризненно честен, а во-вторых, их, проводников, в деревне всего двое, а второй безусловно предпочитает англичан, как более состоятельных и щедрых нанимателей.

– Мне кажется, я его видел, – сказал Маркевич. – Пока мы ждали аудиенции у Корвина, с гор спускалась весьма живописная группа. Судя по всему, как раз проводник и двое туристов. Проводник был, прямо скажем, не исполин. Да ещё шляпа. Огромная шляпа. Она делала его похожим на гриб.

– С зелёным пером? – подхватил Веледницкий.

Маркевич кивнул.

– Это он и был.

– Ему можно доверять? – спросил Тер.

– О чём вы, Александр Иванович? – удивился Веледницкий. – Он всего-навсего горный проводник. В сущности – просто крестьянин, разве что швейцарский. От костромского отличается только наличием ботинок на ногах, впрочем, довольно-таки рваных. Не думаю, что у него вообще есть какие-то взгляды, а тем более – революционные. И уж конечно, он понятия не имеет, какого рода русские приезжают обычно в мой пансион.

– Я нэ об этом, – отмахнулся Тер. – Я относительно погоды.

Веледницкий расхохотался:

– Господи! Да, относительно погоды Шарлеманю, думаю, доверять можно. Это ведь его в некотором роде *business*, как говорят англичане.

– Прекрасно. Товарищи, разрешите мне покинуть вас? Я бы хотел ещё раз осмотреть своё снаряжение.

Никто, разумеется, не возражал. Маркевич и Фишер посидели ещё немного и словно по команде встали из-за стола, обменялись рукопожатиями и вышли из-за стола. В дверях Веледницкий взял Маркевича под локоть и тихо, чтобы не слышал завожившийся у бульотки Николай Иванович, спросил, склонившись к самому уху:

– Кстати, о вашей партийной принадлежности, Степан Сергеевич. Вы что же, более не большевик?

Маркевич улыбнулся, но руку высвободил:

– Увы, Фишер тут прав: в формальном отношении я не принадлежу ни к одной социалистической партии. В настоящее время, – добавил Маркевич. – Но ни с одной и не враждую.

На пути борьбы за истину так мало союзников и так много врагов, что я предпочитаю искать первых, а не вторых. Но наш взволнованный товарищ ошибается в другом: меня ниоткуда не исключали.

11. Из дневника Степана Маркевича

С 1/VIII на 2/VIII 1908

Написано шифром.

По горячим следам, потом разберу и приведу в порядок.

Веледницкий. Все плохое, что мне о нём говорили, очевидно, правда. На социалиста он похож как полушка на Луну. Ясно, что клиника – лишь прикрытие для доходного места, в котором источник дохода – товарищ Корвин. Впрочем, как врач вполне участлив и, несомненно, пребывание здесь с учётом ничтожества суммы, уплаченной мною (вернее, разумеется, не мною) вперёд никак во вред пойти не может. Не излечусь, так хоть отдохну.

Скляр. Слабоумный приживала, тень былого героя. Невозможно себе представить его на каторге. Действительно, более всего похож на попа в уездном городе Сабурове, откуда, кажется, он родом и есть.

Лавровы. Высокомерие – самая омерзительная для меня человеческая черта, но нужно признать, что для человека, запродавшего Марксу все права на бывшие и будущие произведения (говорят, это стоит чуть ли не шестьдесят тысяч), он держится ещё более-менее прилично. Жена его совершенно неинтересна и влюблена в него по уши.

Корвин. То, чего я ждал.

Фишер. Человек загадочный и непонятный. Я думал, что незнаком с ним совершенно, но вышучивая его за столом, вспомнил, что мне рассказывал о нём Волк-Карачевский. Черниговские эсеры – вообще странная публика, тот же Волк – домовладелец и даже, кажется, помещик. Фишер у него на квартире собирал бомбы для киевской дружины. Дело это, как мне отлично известно, опасное и требующее хладнокровия, каковым Фишер на первый взгляд не обладает совершенно. Кроме того, не может быть хорошим бомбистом человек, столь неряшливый внешне.

(Листочек в осьмушку, вклеенный гораздо позднее: «Поразительно, как бывает точным самое первое, самое поверхностное впечатление».)

Генеральша. Невероятно, как за три четверти часа беседы человек может нагромоздить столько лжи, как легко опровергаемой (не может мать С. Б. ничего не знать про Склярова), так и более тонкой (про Корвина). Образ доброй бабушки ей, безусловно, очень к лицу, а вот почему она всё время врёт – это вопрос.

Шубин. Неинтересно. Во всяком случае пока. В пятом году я бы его с удовольствием эксанул, разумеется, но сейчас к подобного рода публике я не испытываю уже никаких чувств: ни любопытства, ни ненависти, ни, разумеется, почтения.

С Тером всё ясно.

Десять лет назад, в ночь с 1 на 2/VIII 1898 я записал в дневнике следующее:

«Моральный ужас рукоблудия полностью искупается достигаемым физическим восторгом. То же, очевидно, касается и царевубийства».

12. Золотая рыбка, выскользнувшая из сети

– Более меня тут ничего не держит. Стоит проживать восемь франков в день, не считая табльдота, и глазеть с утра до ночи на эти горы – глазеть, замечу, из окна, ибо погода, кажется, и не думает налаживаться.

– О, да – совершенно не могу писать ничего, кроме тумана.

– Вот видишь. А меж тем, если завтра – ну хорошо, послезавтра, мы сядем в дилижанс до Эгля, то утром в среду будем уже в Турине.

– И что же нам делать в этом Турине?

– Мы будем каждый день ходить в палаццо Мадама смотреть на Ван Эйка и рембрандтовского «Старика» и в Египетский музей. В Турине мы проведем неделю. Потом будет Милан – дня четыре или, может быть, пять – говорят, там всё равно больше нечего делать. И только потом через Геную – Ницца.

– Я не хочу в Ниццу. И Глеб не хочет.

– Глупенькая, разве я не помню? Да, сейчас там ещё слишком жарко, но мы приедем как раз к началу сезона и таким образом всё устроится как нельзя лучше.

– Дело вовсе не в его экземе. Он хочет кончить здесь какие-то дела.

– Так как он всё ещё мой секретарь – во всяком случае, кормлю я его в качестве своего секретаря, – то никаких дел, отличных от моих, у него просто не может быть. По крайней мере, днём.

– О, как ты заговорил! Быстро же на тебе проступают папины эполеты!

– Что за вздор. Нёлёне, ты прекрасно знаешь, что не оскорбишь меня этим. Если человек считает, что память его отца священна для него, это вовсе не означает, что она, эта память, является его больным местом, по которому в случае чего сподручнее всего ударить. Напротив, подобная святость – или, если угодно, особенное отношение – образует в данном случае нечто вроде брони, делая меня совершенно неуязвимым – во всяком случае в этом вопросе. Но, конечно, тебе понять это довольно трудно.

– О да, разумеется. Не забудь добавить что-нибудь про смотровую книжку. «Заменительный билет заменил ей честь, достоинство, разум, всё». Как? Неплохо? Если у меня не выйдет писать картины, я стану писать романы.

– Немедленно замолчи.

– Издам вторую часть «Воскресения». Как думаешь, разойдётся? Я-то думаю, что да. Живых подробностей будет поболее, чем у Толстого.

– Замолчите.

– Ты забыл добавить «сударыня». Это придало бы твоим словам окончательную сухость и одновременно величественность, словно ты Генрих Четвёртый, а я – Маргарита Наваррская.

– Ты не Маргарита Наваррская, к счастью. Дать тебе развод – в сущности есть дело нескольких дней. И мне не понадобится римский папа. Мне даже не надо будет являться к поверенному – просто написать.

– Но ты отчего-то этого не сделаешь, не так ли? К поверенному напишешь, а развода не дашь. Пусть я безнравственна, пусть дурна, а не дашь.

– Семь лет назад, у Макарьевской, когда ты так естественно изображала сцены сладострастия у моих ног...

– Семь лет назад. Семь лет назад.

– Что же изменилось? Ну кроме того, что ты завела себе пару платьев от Ворта, провела год в вольном отделении Академии художеств и написала с натуры виды дюжины европейских столиц?

– Семь лет, семь лет, семь лет. Семь лет – один ответ. Я не люблю тебя.

– Я знаю это. Когда-то это меня оскорбляло, теперь нет. Повторяю, мы можем расстаться в любую минуту. Одно твоё слово. Большого содержания я тебе предоставить не в силах, ты знаешь, но, скажем, на четыре тысячи в год ты сможешь недурно устроиться где угодно, кроме Петербурга и Лондона.

– Нет. Я не люблю тебя, это правда, но я уважаю тебя. И никогда не уязвлю твоё самолюбие.

– О чём ты?

– Для кого-то брак – избавление. От нужды, от родительского дома с его мелочной опекой и старомодным житьём, от душной чаши какого-нибудь паршивого Успенска. Для кого-то – все круги ада жизни с нелюбимым, чужим человеком, из которых нет исхода. Для тебя же наш брак – подвиг. Твой личный маленький подвиг. И ещё немного – уютная страшненькая тайна. Я не лишу тебя твоего подвига и твоей тайны.

– Я понял, что изменилось за эти семь лет. Там, в Нижнем, ты не была такой непроницаемо-жесточкой.

– Значит, я не просто так провела с тобой эти семь лет, а всё же кое-чему научилась.

– Да, кое-чему научилась. Кажется, это называется манипуляцией. Я всё время чувствую себя мерзавцем – благодаря, разумеется, тебе.

– Мерзавцы – самые занимательные люди, если верить твоему другу Арцыбашеву.

– Давай прекратим этот чудовищный разговор.

– Мне он тоже мало приятен. Но что ж поделать, коли мы собрались так поговорить только здесь.

– *Здесь* в любом случае место совершенно неподходящее. Мы уезжаем в Италию послезавтра. Если господин Товия Гершев Фишер, мой секретарь и твой... конфиденц, непременно желает остаться, он может получить расчёт немедленно. Думаю, доктор Веледницкий не станет пересматривать условия его пребывания здесь.

– Кстати, о докторе. Вот уж кто сразу поймёт, что его водили за нос с этим хабеас истерикус.

– *Habitus*. Ничего страшного. Я подарю ему карточку с автографом и экземпляр «Тихих заводей». У нас же остался ещё один? Надо посмотреть прямо сейчас. Вот дьявол, ты только посмотри: эта растяпа мадемуазель не прикрыла за собой дверь.

«М-да, – сказал сам себе Степан Сергеевич Маркевич, отлипая тенью от стены через несколько секунд после того, как Лавров повернул ключ. – Не упрекай за то, что только ночь тебе открыла тёмная случайно. Вот тебе и влюблена по уши». И более всего на свете в эту минуту опасаясь, что скрипнет половица, стал подниматься к себе, оставив все размышления на утро.

13. Круг чтения старшего цензора Мардарьева

Рабыня веселья

В Челябинске в летнем помещении клуба пьянствовала компания «почтенных», «уважаемых в городе» лиц. Среди них был 70-летний старик, представитель крупной торговой фирмы. Когда компания подпила, решено было пригласить девиц. Особенно настаивал на этом старик-коммерсант. Вскоре одна из таких девиц уже сидела в их компании. Сначала они поили ее, а затем велели танцевать. Насладившись танцами, они решили заставить ее выпить «аршин» водки. Официант принес и выстроил перед девушкой 16 рюмок водки. Полупьяная, при общем одобрении она стала пить, но на 12-й рюмке не выдержала и упала без чувств. Официанты положили ее на извозчика и отвезли в больницу. Там она скончалась. Смерть последовала от отравления алкоголем.

Приазовский край, 19/VII

* * *

Рапорт Енисейского Уездного
Исправника Господину Енисейскому Губернатору.

От 19 июля 1908 г. за № 2979

17-го минувшего июня, в 7 часов утра над селом Кежемским (на Ангаре) с юга по направлению к северу, при ясной погоде, высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который разрядившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез. Об этом доношу Вашему Превосходительству.

Уездный исправник *Солонин*.

* * *

Без точной даты

Г. Асхабад, Ливатовская улица, д. Мезина, Раисе Дмитриевне Мезиной

Дорогая Рая! Что же ты молчишь? Я тебе посылала приглашение чтобы ты приехала ко мне на свадьбу, но ответа не получила. Теперь я уже с 12-го числа стала женой очень богатого купца Сахава, в марте увидимся, думаю приехать в Асхабад. Вероятно приеду с Марусей потому что ее мужа переводят в казачий батальон к Вам. Посылаю тебе вид нашего магазина.

Твоя *Аня Сахава*. Кланяйся всем Вашим.

Адрес: Екатеринодар, Екатерининская улица, д. Акулова № 62, мне.

Уничтожение запаха нечистот

В С.-Петербургской тюрьме, с целью выяснения, какие из дезинфекционно-дезодорирующих средств по силе своего действия и относительной дешевизне являются наиболее пригодными и выгодными для употребления в С.-Петербургских местах заключения, были подвергнуты испытанию: сулема (1:1000) в смеси с поваренной солью, марганцево-кислый калий,

марганцево-кислый калий в соединении с серной кислотой, неочищенный железный купорос, лизоформ, формалин, пиреновая жидкость инженер-технолога Д. М. Кирпичникова и неочищенный древесный уголь, причем оказалось, что из всех перечисленных средств по сравнительно меньшей стоимости того количества, которое требуется для достижения ощутительных результатов в смысле дезодорации экскрементов, имеет некоторое преимущество пиреновая жидкость.

Тюремный вестник. № 6/7

* * *

В одном из последних заседаний швейцарского общества натуралистов сделано сообщение о прирученном волке. Разрешить эту задачу, считавшуюся неосуществимой, удалось некому Оскару Мешу в Тейфене. Волк был куплен трех месяцев в зверинце. Терпением и выдержкой удалось его выдрессировать до того, что в настоящее время волк следует за хозяином, спешит на его зов и, находясь всегда на свободе, не убегает из дому. Если во время прогулки волк теряет хозяина, то начинает, как собака, нюхать его след и находить его. Вообще, волк очень верен хозяину. По улицам деревни и даже ближайшего городка он бегают, никого не трогая. Кусается только тогда, когда его дразнят. Благодаря своему чутью он незаменим на охоте.

Природа и охота. № 7

14. Прикажи сам себе выйти вон

Маркевич сидел на террасе и несмотря на ранний час ел яблоки. Перед ним стояла большая глиняная миска и лежал его собственный перочинный нож – с треснутой по диагонали красной костяной накладкой на ручке. Маркевич брал яблоко – они были сорта глокенапфель, крупные, продолговатые, «что-то вроде крымского кандиля, но с более плотной кожицей», думал он, – впивался длинными белыми пальцами, разламывал пополам, брал ножик и аккуратно чистил половинки, а потом резал на тонкие ломтики и быстро отправлял один за другим в рот.

– Квас бы из них сделать, – услышал он за спиной. – Или пастилу.

Товия Фишер явно провёл бессонную ночь. И если он и пытался уснуть, то делал это не снимая пиджака – уж больно тот был измят. Рыжеватая щетина отчётливо выступала на бледной до синевы коже. Он стоял, прислонившись к косяку. «Эге, дружище, – подумал Маркевич, – а не Елена Сергеевна ли стерегла нынче ваш непокой?»

А вслух сказал:

– Слишком сладкие для кваса. Возьмите лучше мускадет, он и дешевле выйдет.

– Всё-то вы знаете, Маркевич, во всём разбираетесь. – Фишер сел на стул около стены и привалился к ней всем телом. – Лучше расскажите, чем нас кормили вчера вечером: я не сомкнул глаз ни на минуту.

– Кажется, это называется лазания. Я спал как убитый.

Над Се-Руж сквозь привычные уже низкие облака вдруг пробилося мандариновое солнце.

– Вы собирались в горы, – сказал Фишер.

– Да, погода, кажется, располагает. Во всяком случае, дождя быть не должно. Но я решил сперва переговорить с проводником. Уж больно его доктор вчера нахваливал.

– Все эти гиды одинаковые, – пожал плечами Фишер. – Что в горах, что во Флоренции. Гонору много и всё время клянчат на водку.

– Я вовсе не собираюсь его нанимать, – возразил Маркевич, – тем более что покорение Монблана пока не входит в мои планы. Мне нужно посоветоваться касательно маршрута и экипировки.

– Про экипировку у товарища Тера разузнайте, вон у него её сколько, в комнате не помещается.

(Тер-Мелкумов и впрямь выставил один из своих чемоданов, самый большой, в коридор, и Маркевич, выходящий на рассвете из комнаты по нужде, чуть не упал.)

– Вы и его недолюбливаете? – спросил Маркевич.

– Почему «и»? А, вы про вчерашнее. Бросьте, Маркевич, вы же не обиделись? Я вас в деле, извините, не видел, никаких теоретических работ у вас тоже вроде бы не имеется. Веленский говорил, что вы в студенческой дружине были. Коли так, примите, так сказать, уверения. Сейчас здесь, за границей, много всякой русской сволочи вьётся вокруг нашего брата. И все-то дерзкие, все-то языкатые. Навроде вас.

– Вы удивительный человек, Фишер. Я в жизни не встречал никого, кто менее вас хотел бы понравиться окружающим.

– Вы не могли мне сделать комплимента лучше. Впрочем, в будущем всемирном музее мизантропии зал, посвящённый вам, будет сразу вслед за моим.

– Напротив. Я люблю людей. Точнее, мне они интересны. Вот товарищ Тер, который вам нравится ещё меньше, чем я, интересен мне как тип человека, целиком состоящего из увлечений. Воздухоплавание, фотография, горвосхождения, джигитовка, какое-то там «офицерское многоборье»...

– ...революция.

– А хоть бы и революция. Нельзя же делать революцию профессией.

– Вы это Плеханову рассказать не пробовали? Или Ленину? Или хотя бы нашему вчерашнему говорящему экспонату?

– Я не уверен, что Ленин хочет до конца жизни делать революцию. Думаю, что он хочет рано или поздно увидеть, как она победит.

– И что из этого следует?

– Из этого следует, что он в первую очередь политик. Впрочем, насчёт Корвина вы, скорее всего, правы. Революция для него процесс, а не цель. Особенно сейчас.

– Ну по крайней мере относительно товарища Корвина у нас с вами расхождений нет, – хмыкнул Фишер.

– Ну не знаю. Вы вчера всю церемонию провели с таким укусным лицом, что, право, я испугался, что от одного вашего присутствия скиснет молоко в корвиновском кувшине.

– Он просто старый идиот. Сумасшедший, позорящий наше дело. Спросите в Париже – ну хорошо, не в Париже, где-нибудь в Америке – «что такое русская революция?». Каждый второй абориген вам в ответ закатит глаза: «О-о, Корвин!». А что, спрашивается, Корвин? «О-о, это так невероятно. Я читала это в журнале “Новые ежемесячные выкройки”, там есть раздел “Интересные истории”. Он такой храбрый. Он был рабом на галерах у турок, а потом бежал, чтобы освободить poor Russian peasants как Линкольн освободил негров. И он все время хотел убить царя. Он такой отважный, это ваш Кервель».

Маркевич рассмеялся.

– Боритесь с этим. Напишите памфлет. Анна Аркадьевна говорит, что у вас великолепный английский. Кстати, где вы нахватались?

– Домашнее обучение. Я же, представьте себе, не всегда служил секретарём. Были когда-то и мы седоками и рысаков мы имели гнedyх... Полный Вальтер Скотт в шкафу, мадонны на стенах, бранзулетки в горках, мерзость, почитаемая якобы как величайшая красота. Отрыжка человеческого безделья. Мбда. Что до памфлетов, то проку от них никакого. Кошельки его поклонников неистощимы, а полные фонды не терпят фронды. Нам, кстати, вчера ещё повезло: Николай Иванович не взял с нас свою обычную мзду.

– А он получает деньги с визитёров Корвина?

– Будто вы не догадывались¹¹. С чего же он, по-вашему, живёт? Но гости не остаются внакладе. Я своими глазами видел в Берлине объявление, приглашающее на лекцию «Мои встречи с великим человеком: новейшие соображения д-ра Корвина о социализме и половом вопросе». Какой-то Альтер-Шмальтер-Юнгер-штейн. Небось с тех пор уж и книжонку написал. По половому вопросу.

– Пусть. При гениях – а вы же не будете отрицать, что Корвин гений, надеюсь, – всегда обретается толпа шарлатанов. Не кормите их – только и всего.

– Не в этом дело. Вокруг этого вашего гения вертятся бешеные деньги – в то время как настоящим борцам не хватает средств на оружие, типографии, на подкуп надзирателей, да просто на поддержку товарищей, выбравших, вопреки вашему скепсису, революцию своей профессией. Вот бы выяснилось, что он провокатор, что он разоблачён как враг нашего дела, – это стало счастливейшим днём в моей жизни.

– И если бы вам предложили привести в исполнение приговор?

– Нет. Это не доставило бы мне радости. В сущности, он тяжело больной человек.

– Но ваша рука в случае чего не дрогнула бы?

– Экие вы, товарищи, ранние пташки! Вода для кофе ещё не кипит и мадемуазель Марин ещё не выглядывала посмотреть на молочника. И не холодно вам тут?

¹¹ Впоследствии выяснилось, что мзда была совершенно ничтожна – от одного до пяти франков с человека, да и то не всякий раз: отказать Николаю Ивановичу в чаевых было проще простого.

Николай Иванович Скляров был почти в неглиже – халат, персидские туфли, – но умыт и даже, кажется, напوماжен.

– Ничего-ничего, бог с ним, с молочником, – он принялся расставлять вокруг стола опрокинутые им же на ночь стулья. – Я сейчас самолично вам чайку организую. Хороший был вчера у меня чаёк?

– Исключительный, Николай Иванович, – сказал Маркевич, а через минуту добавил:

– Как вы думаете, Фишер, он нас слышал?

– Бог весть, – задумчиво ответил Фишер, глядя на закрывшуюся за Скляровым дверь.

...К чаю – или, вернее, к кофе, потому что пока они собирались, прибыл молочник, и обе хозяйки приступили к исполнению служебных обязанностей (их завтрак, как пояснил Николай Иванович, суть забота мадам, мадемуазель же хлопочет для «одного особенного пациента») – кроме них троих вышел только Шубин.

– Ну-с, ждать никого не будем, – бодро сказал Николай Иванович. – Александра Ивановича я видел на террасе, он имел вид крайне озабоченный – готовится к походу. Ну а дамы, равно как и семьи, имеют право на определённую свободу. Здесь превосходные булки, попробуйте, Степан Сергеевич, вы ж вчера проспали это удовольствие.

– Благодарю. Кто их печёт?

– Здесь, в деревне. Господин Шубин, что скажете? Не хуже филипповских?

Господин Шубин промолчал. Первую чашку кофе он выпил залпом под осуждающим взглядом Склярова и теперь неспешно смаковал третью, время от времени поглядывая, не слишком ли быстро уменьшается груда в хлебной корзинке. Что-то, однако, отвлекло Шубина от этого занятия, и это был, конечно, велосипедист.

Он выехал из-за поворота, вихляя по размытой дождями дороге, да и вообще держался в седле неуверенно, каждое мгновение норовя опрокинуться в грязь. Поэтому он сосредоточенно смотрел на переднее колесо, словно помеха была именно там, на земле, а не в нём самом.

«Мундир-то линялый, прям как у наших, – подумал Маркевич. – Отчего у всех полицейских на свете – кроме немецких, разумеется, – так быстро теряют цвет мундиры? Даже у англичан, даром что аккуратисты и шерсть на шитье идёт, наверное, превосходная. От трудового пота? От стыдливого презрения к собственному ремеслу? В Таганской тюрьме, когда туда приехал с концертом Шаляпин, стражников переодели в новое. Через неделю у всех форма превратилась в обноски... Откуда же он ехал на этом своём уродце? Не из Эгля же. Впрочем, может, и из Эгля».

А вслух на вопрос полицейского ответил:

– Да, Маркевич это я.

Пока они ждали дилижанса (свой велосипед жандарм попросил разрешения оставить в пансионе), проснулись все остальные обитатели дома. Доктор Веледницкий имел с гостем беседу на повышенных тонах («Что значит “простая формальность”? В Швейцарии у иностранцев не требуют паспорта! Я сегодня же буду официально жаловаться вашему начальству»), мадам Марин принесла ему пепельницу, Лавровы делали вид, что никакого полицейского на террасе вовсе нет. Маркевич поднялся к себе, повязал галстук и сунул в карман паспорт и последнее яблоко из глиняной миски. Наконец, показался дилижанс, притормозил, возница кивнул капралу и показал кнутом на империал.

– У выжан в Приуралье есть странный обычай, – сказал, ни к кому не обращаясь, Фишер, когда дилижанс исчез за поворотом, – если один мужик сильно обидит другого, то самая страшная месть, которую может придумать обиженный, – повеситься во дворе у обидчика.

15. Из дневника Степана Маркевича

Со 2/VIII на 3/VIII. 1908

Эта ночь, в отличие от предыдущей, будет бессонной. Мой мозг устроен таким образом, что всё, что им зафиксировано, должно быть записано от руки в первые сутки, ещё лучше – в первые несколько часов. Не то чтобы бумага заменяет мне память – но во всей своей полноте воспоминания можно сохранить только письменно; и как я уже сказал, желательно по горячим следам. *Verba volant scripta manent*, как наверняка сказал бы по этому случаю доктор Веледницкий.

Итак, я должен записать все события уходящего дня и сделать это тем тщательнее, ибо кто знает, для чего и при каких обстоятельствах мне это теперь сможет понадобиться. Уезжая сегодня утром в сопровождении жандарма в Эгль, я и представить себе не мог, каким богатым событиями (страшными или не очень – пока сказать не может никто) окажется этот день.

В Эгле ничего любопытного меня не ждало. Капрал Симон – так звали приехавшего за мной жандарма – был удручён моим задержанием не менее, чем я сам. Впрочем, причины у него на то были особые. Сегодня он собирался пораньше закончить служебные дела – заключавшиеся, сколь я понял, в надзоре за утренней торговлей на рю де Бур – и отправиться в соседний Иворн к невесте. Вместо этого ему пришлось чуть свет тащиться на велосипеде в Вер л'Эглиз, потому что денег на дилижанс ему дали только на обратную дорогу. При этом, по уверению господина капрала, дело моё не стоило и выеденного яйца, потому что в противоположном случае наверняка послали бы как минимум троих. Так, разумеется, и вышло. Коллега Симона, тоже, сколь я понял, в капральском чине, тщательно переписал содержимое моего паспорта, подтвердил, что обычно ничего подобного не требуется, но бывают и исключения, и угостил плохим кофе. Словом, дело было покончено в каких-нибудь полчаса – дорога в Эгль и обратно занимала вчетверо большее время.

С обратной дорогой, впрочем, имелись известные трудности: денег у меня при себе не было ни сантима, оба капрала же уверенно заявили, что водуазская кантональная полиция оплачивает лишь доставку задержанных *сюда*, но вовсе не обязана оплачивать дорогу *отсюда*. Таким образом мы препирались ещё не менее получаса, пока второй капрал не принялся энергично посматривать на ходики, намекая на приближение обеденного времени. Так бы, вероятно, дело дошло до унижительного займа у полиции, но тут откуда-то из глубин канцелярии появился господин, видом своим отличавшийся от капралов как архиепископ от архивариуса: та же ищейка, но с барскими манерами, золочёным пенсне и идеальным, в нитку, пробором в черных волосах.

(Листок, вклеенный после этих строк значительно позднее:

Всё, что я теперь знаю об этом человеке, наводит меня на мысль о необходимости создания марксистской теории предопределения. Нет ни единой причины считать это идеалистической гилью: коль скоро инструменты исторического развития общества могут быть описаны строго научно, то почему предопределение как часть исторического механизма, не может стать предметом марксистской онтологии?)

«Вам непременно нужно вернуться в Вер л'Эглиз засветло?», – спросил господин с пробором.

Я был так возбуждён, что в первые несколько секунд не сообразил, что он обратился ко мне по-русски.

Говорил он довольно правильно, но с порядочным акцентом, причём не французским, округлым и мягким, а каким-то щёлкающим и твёрдым: «зашвэ́тло».

Он явно был доволен моим замешательством и повторил свой вопрос по-французски.

«Это было бы крайне желательно, – с вызовом (как мне показалось) ответил я тоже по-французски. – Я нахожусь на излечении и не хотел бы пропускать целый день из курса по вине вашей полиции, которая, видите ли, возит добропорядочных путешественников только в один конец».

«К сожалению, это правда. Полиция кантона Во не имеет возможности ни доставить вас обратно, ни оплатить вам дилижанс. Но я думаю, что кое-что всё же можно сделать».

«Что именно?» – спросил я.

«Дело в том, что по случайности мне тоже нужно в Вер л'Эглиз, и именно сегодня. Я, пожалуй, возьму служебный шарабан и прихвачу вас обоих с собой».

«Нас обоих?»

«Ну да, вас и Симона. Должен же бедняга забрать свой велосипед».

Дело складывалось как нельзя лучше, но я, разумеется, обязан был уточнить:

«Мне бы хотелось, месье...»

«Целебан. Инспектор Целебан, если угодно».

«Мне бы хотелось, господин инспектор, чтобы мы с вами с самого начала избежали каких-нибудь недоразумений, вытекающих, возможно, из вашего предложения. Коли вы отвезёте меня в пансион – что, по моему убеждению, полиция сделать обязана в любом случае, – я буду вам, разумеется, признателен. Но не более того. Ни на йоту не более».

Целебан расхохотался, да так, что был вынужден прикрыть платком рот. После чего продолжил по-русски:

«Послутшайте, господин Маркевич, в Швейцарии не вербуют осведомителей за поездку длиной в несколько миль. Шчто вы за народ такой, политические эмигранты? Везде видите полицейские уловки».

«Я вовсе не политический эмигрант, господин Целебан».

«Тем лучше, тем лучше. Значит, вы примете не только моё предложение отвезти вас в ваш санаторий, но и приглашение со мной отобедать здесь, в Эгле. Дело в том, что мы не можем отправиться прямо сейчас, уж извините. Мне предстоит короткое, но важное свидание в половине третьего. Так что, к сожалению, для вашего лечения сегодняшний день всё же будет потерян. Но я обещаю, что вы успеете к ужину. Во сколько там у вас его подают?»

Пообедать я, конечно, согласился. Целебан привёл меня в кафе с видом на Ле Шамосер и угостил едой простой и сытной, но, конечно, приведшей бы в ужас и мадам Марин, и доктора Веледницкого. Нам подали что-то вроде запеканки с картофелем и пореем, а вместо десерта – обваленные в сухарях сырны шарики.

«Знаете, как это называется?» – спросил Целебан.

«Не имею ни малейшего представления».

«Это малакофф. Говорят, это блюдо придумали во время Крымской войны солдаты Швейцарского легиона. И назвали в честь битвы за редут Малакофф».

«Мы, русские, называем это место Малахов курган. Разве швейцарцы участвовали в Крымской войне?»

«Боюсь, что да. Впрочем, я не знаю».

Остаётся добавить, что когда я спросил у гарсона молока, тот посмотрел на меня как на святотатца. Пришлось выпить вместе с инспектором стаканчик белого вина, причем, превосходного. Итак, я второй день подряд пью вино, считая вчерашний шартрез у доктора. Неплохое лечение нервных болезней!

Получасом позже/.

Мы выехали из Эгля, когда ещё не было трёх. Инспектор Целебан оказался довольно сносным спутником (разумеется, я не беру в расчёт то обстоятельство, что путешествую за его счёт): мы обсудили «Испанскую рапсодию» и «Тайну жёлтой комнаты», поговорили об американских туристах, которые никогда не берут с собой в горы проводников, а когда бес-

следно исчезают, из Женевы мчится консул и устраивает такой скандал, как будто Швейцария объявила Соединённым Штатам войну. Разительный контраст с британцами, которые даже в горах являют собой превосходные образчики дисциплины! От британцев мы плавно перешли к регби-футболу (Целебан, как выяснилось, учился в Париже, ну а я за год, проведённый в Твикенхеме просто обязан был научиться хоть немного разбираться).

«Швейцарцы никогда не будут играть в регби», – сказал он.

«Почему?».

«Если в наши руки что-то попало, мы любой ценой попытаемся это сохранить и никогда ни с чем не расстанемся. Пока не преумножим»¹².

До пансиона оставалось, вероятно, не более получаса, когда я все же решился спросить:

«Могу ли узнать, откуда вы так хорошо знаете русский?»

«Можете. Мой отец поляк. Бывший российский подданный. Кстати, вас не затруднит в дальнейшем говорить со мной только по-русски? Мне чертовски необходима практика».

«А для чего она вам?»

«Обожаю языки. Говорю на всех здешних – их, как вы знаете, четыре – а также на польском и английском. Ну вот я и решил, что было бы странно, имея российские корни, не выучиться как следует ещё и русскому языку. Так что же, окажете мне подобную услугу?»

«Разумеется, господин инспектор».

«Вот и славно. Можете спросить меня ещё о чём-нибудь».

«С удовольствием – если только мой вопрос не покажется вам нескромным. Какие дела у вас в Вер л'Эглиз?»

«Сугубо личного свойства».

«Простите великодушно, просто я...»

«...просто вы думаете, что я сойду вместе с вами у пансиона. Нет, увы. Я сойду у гостиницы, где надеюсь получить сносный ужин. Потом пройду полсотни шагов и вот я и у цели. Это дом моей матушки. Я, признаться, нечасто в нем бываю. А тут такая замечательная оказия».

Но всё же мы сошли вместе.

/Ещё четвертью часа позже/.

Мне нужно быть очень внимательным. Детали опасны не тем, что в них прячется мифический вельзевул, а тем, что легко могут увести мысль по ложному следу – опасность, перед которой ничто все властелины ада. Мозг любит аккуратность – у моего учителя есть мысли и пооригинальнее, но сейчас это именно то, что мне нужно.

Итак, сперва я увидел доктора Веледницкого. Он стоял у самой калитки и, казалось, застыл, разведя в недоумении руки. Был он без пиджака и галстука и эта невообразимая для доктора небрежность в одежде ещё более подчёркивала необычность ситуации. Но поскольку смотрел он не на дорогу, а, напротив, на входную дверь пансиона и французское окно террасы, то причиной этого странного столбняка была вовсе не полицейская повозка (которая к тому же была лишена всяких опознавательных знаков). На террасе же стояли обе хозяйки, толстая и тонкая, а также Николай Иванович – все трое с крайне растерянным видом. Сейчас, спустя несколько часов, мне кажется, что эта растерянность и это недоумение так бросалось в глаза, что его не могли не заметить ни инспектор, ни туповатый капрал Симон, ни даже кучер. Но в ту минуту никто, решительно никто не обратил на это никакого внимания – за исключением меня.

«А, это вы, Маркевич», – сказал Веледницкий, когда я вышел из шарабана буквально в шаге от него. «Вижу, вас доставляют с почётным эскортом. Или это конвой?»

¹² Много позже я узнал, сколь ошибался инспектор: в регби в Швейцарии начали играть лет за сорок до описываемых событий, и играть весьма успешно. Но к 1908 году игра эта там действительно совершенно захирела.

«Ни то ни другое. Инспектор Целебан любезно захватил меня с собой. Он тоже ехал в Вер л'Эглиз. Ну а месье капрал сейчас потребует от вас свой велосипед».

Я сказал это по-французски, хотя Веледницкий говорил со мной по-русски. Простая вежливость требовала от меня представить доктора и инспектора друг другу, что я и сделал.

«Наслышан о вашем учреждении. В основном, конечно, благодаря вашему знаменитому постояльцу», – сказал Целебан тоже по-французски.

«Я тоже наслышан о вашем... учреждении», – ответил Веледницкий. Тут я, вероятно, вытаращил глаза – во всяком случае пришёл в немалое удивление: ответ доктора звучал почти грубостью. Главное же, что хотя Целебан и вышел из шарабана для поклона, Веледницкий так и не двинулся с места, перекрывая калитку.

До сего момента доктор казался мне воплощением гостеприимства. Целебану, вероятно, тоже. Мы помялись несколько секунд, после чего Веледницкий сделал приглашающий жест – но он так очевидно касался меня одного, что я совершенно оторопел. «Весьма приятно», – сухо сказал Целебан, оставаясь на месте. «Весьма», – подтвердил Веледницкий. Инспектор остался у повозки, ожидая, чем завершится эта удивительная сцена.

«Господин Целебан, я должен поблагодарить вас за услугу». (Я говорил всё ещё по-французски.)

«Пустяки», – отозвался инспектор. «Тем более, что вы наверняка остаётесь в уверенности, что вас должны были доставить обратно».

Мне ничего не оставалось, как признать его правоту.

Целебан протянул мне руку на прощание. Что ж, руку я пожал.

Мы вошли во дворик. Мадам и мадемуазель уже куда-то испарились и только Николай Иванович – всё с тем же неопишимо изумлённым видом – стоял в дверях. Он открыл было рот, но доктор Веледницкий жестом попросил его молчать и далее; затем прямо из hall'a, не дав мне даже снять пальто, почти насильно втолкнул меня в свой кабинет. Не предложив сесть и не сев сам, он выдохнул и сиплым голосом сказал:

«Лев Корнильевич исчез».

Несколькими часами позже доктор Веледницкий сказал, что был поражён моей первой реакцией на свои слова. «Вы совершенно не изменились в лице, только принялись крутить пуговицу на пальто, да так яростно, что оторвали её в одно мгновение. А потом спросили: “А это наверняка?”».

Признаться, про пуговицу я вспомнил, а вот про вопрос забыл. Не то чтобы я отличался особым хладнокровием, врачи склонны считать это формой меланхолии, но очевидно, сперва просто не поверил словам доктора. Для того, чтобы сообразить, что он не сошёл с ума и не шутит, впрочем, понадобилось всего несколько секунд.

«Как это произошло?»

«Прежде чем рассказать вам всё, Степан Сергеевич, я должен кое-что прояснить. Вы, очевидно, единственный из нас, кто совершенно точно никоим образом непричастен к событиям сегодняшнего дня; впрочем, нельзя исключать полицейский заговор и ваше в нём участие, но... Я не поклонник парадоксов и верю в то, что у истины всегда самое простое объяснение. За это меня и не любит Натансон. Таким образом, у вас своего рода алиби».

«Погодите, Антонин Васильевич. Слово “алиби” обычно употребляется, когда речь идёт о преступлении».

«Совершенно верно, – ответил Веледницкий. – Я думаю, что Корвин убит».

«Господи помилуй».

«Не спрашивайте меня, почему я так думаю. Я не видел его тела. У меня нет ни единого соображения насчёт *cui prodest*. И я, конечно, буду счастлив ошибиться. Но тем не менее сейчас я прошу вас о помощи».

«Какого же рода?» – спросил я.

«Поговорите с обитателями дома. Со всеми и порознь. Да, вы мало знакомы с Тер-Мелкумовым, но вам мирволит генеральша, да и господин Лавров не смотрит на вас как на пустое место, то есть как на меня. Думаю, даже его степенство вы в состоянии разговорить».

«Помилуйте, да для чего всё это? Даже если Корвин убит, почему вы решили, что кто-то из обитателей пансиона к этому причастен? И где в таком случае тело?»

«Это очевидно – на дне пропасти. Причём – с учётом того, что там что-то вроде реки – один Бог знает как далеко уже от Ротонды. Это ответ на ваш второй вопрос. Что до первого... Вы всё поймёте, если согласитесь с моим предложением и первым опросите меня самого», – сказал Веледницкий.

«Нет уж, всё же увольте. Пожалуй, в следователи я не гожусь. *Chacun doit vivre de son métier*».

«*Varier les occupations est à l'esprit recreation*¹³. У вас же тут рекреасьон, не так ли?» – он кисло улыбнулся.

Что же делать? Я согласился. И доктор Веледницкий начал свой рассказ. (То есть сперва он снял пиджак, долго раздумывал куда его повесить – на спинку кресла или в шкаф, затем всё же сделал выбор в пользу кресла, достал папиросу, помял её в пальцах и не закуривая, начал.)

«В котором часу вы уехали? Восьми ещё, вероятно, не было. Я был зол на полицию донельзя. Теперь их не могу. Зимой меня самого задержали по делу Спиро. Не помните? Какие-то молокососы попытались устроить в Лозанне экспроприацию. Ну да неважно. Так вот, едва вы уехали, как меня позвала мадам Марин: мол, около пансиона трётся какой-то господин. Русский – это было очевидно: только русские носят за границей эти ужасные пальто тараканьего цвета. Он спросил у мадам, есть ли свободные комнаты. Одна такая, как вам известно, есть, но я не могу её сейчас сдавать. Мадам Марин знает об этом. Она и сказала этому пальто, что все нумера заняты. Тот постоял ещё немного и ушёл обратно в деревню».

«Как у него с французским?» – спросил я.

Веледницкий кивнул.

«Я тоже поинтересовался первым делом. Ужасно. Очень старомодные обороты и подбирает слова. Явно мало практики».

«Вы его здесь раньше не видели?»

«Нет, но это ни о чём не говорит. Я довольно редко бываю в деревне – в Эгле и то чаще. А здесь – аптека, почта, мясник, иногда кафе – я пару раз в месяц люблю выпить настоящего кофе вместо тех экскрементов, которые приуготовливает дражайший Николай Иванович».

Тут я всё-таки, кажется, не сдержался и хмыкнул. Доктор Веледницкий явно был умнее, чем старался показаться своим пациентам.

«Итак, тараканье пальто постояло минут пять и отправилось восвояси. Я видел его из окна и проследил за ним, пока он не исчез из виду. Тем временем гости закончили завтрак. Тер – давайте я буду экономить время на всяческих “господах” и “товарищах”, хорошо? – собрался на свою тренировку. Меня это почему-то крайне заинтересовало. Кроме того, мадам Марин затеяла влажную уборку в кабинете и смотровой. И я напросился посмотреть, как Александр Иванович будет лазать по скалам. Фишер увязался со мной. Тер отчего-то провозился со сборами всё утро и решил далеко не ходить, а попрактиковаться прямо тут, около пансиона, сразу за Ротондой. Там есть отличная скала, с отрицательным углом, как выразился Тер, я сперва не понял, что это значит. Ходу туда было минут десять от силы и по пути я, конечно, решил заглянуть, как там дела в Ротонде».

«Лестница была, конечно, в порядке?» – спросил я.

«Безусловно. Поднята и закреплена самым надёжным образом. Но дело не в этом. Я спустился к Ротонде».

¹³ «Каждый должен жить своим ремеслом. – Перемена деятельности – лучший отдых» (фр.).

«Для чего?»

«Чтобы отдать Корвину книги. Он заказывает их по почте на моё имя».

«Что именно?»

«“Энциклопедию законоведения”, первый том, “Историю материализма”, “Четыре фазиса нравственности” Блэки и “История философии в жизнеописаниях”».

«И Корвина вы, конечно, видели».

«Да, хотя и не разговаривал с ним. Впрочем, Фишер и Тер видели его тоже. Мы подошли к самой лестнице. Лев Корнильевич сидел во дворике, у скалы, прямо на поднимавшемся солнце – меня это заинтересовало, он ведь не очень любит яркий свет – и одет в свой лучший, вернее единственный приличный костюм. Мне удалось его вчера убедить, что когда приезжают уважаемые гости, встречать их в фартуке не очень хорошо. Так вот, он был одет в свою лучшую каштановую тройку, белую рубашку – ну, когда-то белую, допустим, ведь бельё он не разрешает стирать – и босиком. Я немного подивился, но тут он увидел меня внизу и самым естественным образом улыбнулся нам и помахал рукой».

«Невероятно, да?»

«Да нет, пожалуй. Приступы его безумия чередуются то с апатией, то с меланхолией – вы все видели это вчера – то с проблесками совершенно ясного рассудка. Пару недель назад он вдруг отчаянно заспорил со мной о своей диете. Его совершенно не устраивали духовые овощи и варёная телятина, он настаивал на сырых корнеплодах – исключить лук – и баранине *a la grill*. При этом он цитировал Авиценну, Галена, Кюри и Мечникова – наизусть, целыми абзацами и строфами – и чрезвычайно раздражался, если хоть на секунду замечал, что я считаю его аргументы бредом повредившегося рассудком человека».

«Итак, вы зашли в Ротонду, отдали ему книги...»

«Нет. Для начала я попросил Фишера и Тера идти далее, так как боялся перемены настроения Льва Корнильевича. Затем я действительно спустился, вошёл в Ротонду, а он – вслед за мной. Я сказал что-то обыкновенное, вроде того, что вот, мол, ваши книги, а обстоятельно поговорим в обычное время. Он мне ничего не ответил, только разве что снова улыбнулся. Потом исчез за ширмой. Я положил книги на стол, постоял ещё какое-то время, вышел, выбрался наверх, поднял за собой лестницу и, разумеется, запер её на замок».

«И пошли к скале с отрицательным углом».

«Не совсем так. Тер и Фишер ушли вперёд, пока я был в Ротонде. Не слишком далеко, но всё же ушли. Я нагнал их уже около скалы. Мне показалось, что они о чём-то горячо спорили, но при виде меня резко осеклись».

«Вы не слышали, о чём именно был спор?»

«Нет. Единственное слово, которое я успел услышать, произнёс Фишер и оно было “неудобства”. Когда я приблизился, Фишер сел на камень и, по-моему, потерял всякий интерес к тренировке».

«То есть он потащился с вами исключительно чтобы переговорить с Тером? Но разве он мог быть уверен, что вы оставите их наедине хоть на минуту?»

«Нет, не мог. Впрочем, можно было бы предположить, что коли мы пройдем мимо Ротонды, я там задержусь. Но это слишком сложно. Есть мильён возможностей уединиться, не прибегая к таким трюкам».

Я кивнул.

«Фишер сидел, курил и молчал. Я тоже присел – даже думку с собой прихватил из дома. Тер же начал распаковывать свои мешки и извлекать оттуда разные предметы снаряжения, иногда отвечая на мои вопросы. Я, разумеется, не горовосходитель, но живя здесь, поневоле многое узнаёшь относительно этого спорта. Я, например, заметил, что ботинки у Тера на кожаной подбитой гвоздями подошве и обратил его внимание, что Шарлемань однозначно высказывался в пользу каучуковых, как более удобных и долговечных».

«И что же ответил Тер по поводу этого замечания?»

«Что? А. Не помню. Неважно. Впрочем, нет, помню. Он высказался в том духе, что сперва каучуковые подошвы, потом английское шерстяное белье, а в конце концов проводники будут носить туристов в горы на закорках. Мол, всё это не спорт. Я не перечил».

«А потом?»

«Потом Тер начал, собственно, свои упражнения. Он вбивал в скалу крюки, общим числом, кажется, пять или шесть, натягивал на них верёвки, вставал собственным весом, с мешком и без мешка. Добравшись таким образом до небольшого уступа высотой сажени в три от земли, обнаружил выбоину, удобную для пальцев, и попытался подтянуться. Чуть не сорвался, кстати говоря, прямо нам с Фишером на головы. Потом спустился вниз, снова пополз по крюкам, к одному из них привязался верёвкой и некоторое время болтался в воздухе точно в люльке. При этом сообщил, что его верёвка, хотя лучшего сорта, всё равно способна выдержать только статическое, а не динамическое напряжение. То есть вот так висеть он ещё может, но если сорвётся и повиснет на верёвке, то она непременно лопнет. Всё это заняло у него часа полтора. Затем он спустился и объявил, что закончил».

«И вы сразу пошли домой?»

«Сразу. Мы выкурили по папироске – я, как вы знаете, полагаю табак скорее успокоительным, чем возбуждающим средством и даже написал об этом небольшую работу в *Revue Neurologique* – и двинулись обратно. Дорога там в одном месте разветвляется и начинается небольшая тропа, круто берущая вверх, и Тер сказал, дескать, вот прекрасное место для несложных горных прогулок. Я подтвердил, Шарлемань часто водит туристов по этой тропе. А Фишер заметил, что без подготовки даже на такую тропу не взойти. Тут случилось странное. Тер как-то нервно засмеялся и сказал что-то вроде того, что тот, кому не страшно бегать по крышам, не должен бояться какой-то там тропки».

«По крышам?»

«Да, по крышам. Понятия не имею, что он имел в виду, но Фишеру это, кажется, сильно не понравилось».

«И что он ответил?»

«Вы знаете, ничего. Просто прошёл вперёд».

«Странно. Он довольно вспыльчивый малый».

«Вот именно. Мне это тоже показалось странным. Нет, не так. Мне это сейчас кажется странным, а утром я не обратил на это никакого внимания. Да и на слова про крышу, если честно, тоже».

«Мне показалось, что Тер и Фишер до вчерашнего дня не были знакомы».

«В том-то всё и дело. Я их представлял вчера друг другу, утром, вы ещё спали».

(Меня Веледницкий тоже представлял Теру, разумеется, так что это ничего не значило; но доктору это знать было не обязательно).

«Итак, вы вернулись в “Эрмитаж”».

«Итак, мы вернулись... Нет, погодите. Тер уронил в расселину кайло!»

«Кайло?»

«Ну или кирку. Небольшая такая кирка, совсем новая, на коротком древке».

«Понимаю. Это называется ледоруб. Зачем он брал его с собой? Не собирались же вы на ледник».

«Не имею представления. Он взял её – или его – с собой, но не использовал во время занятия, она так и пролежала около нас с Фишером. А на обратном пути он присел, чтоб завязать шнурки на ботинках, положил её рядом и неосторожно толкнул вниз».

«И не попытался достать?»

«Попытался. То есть он лёг на землю, посмотрел вниз и покачал головой, мол, глубоко, ничего не выйдет. Фишер ещё спросил, остро ли необходим ему этот предмет. Тер ответил, что нет, но он сегодня же выпишет себе из Женевы новый».

«Вы ещё раз прошли мимо Ротонды...»

«Да. И застали там Елену Сергеевну. Она писала с натуры. Я спросил, видела ли она Корвина – я подозревал, что этюдник это просто маскировка. Она ответила, что нет, он не появлялся. Мол, она сидит уже два с половиной часа и никто из дома не выходил. Фишер предложил ей идти в пансион, она согласилась. Мы подождали, пока она сложит свой этюдник, и пошли».

«Во сколько вы оказались дома?»

«Без четверти полдень».

«Откуда такая точность?»

«Дело в том, что я прошёл на кухню, посмотреть, что приготовили Льву Корнильевичу на обед. И обнаружил, что мадам Марин сильно завопилась с готовкой. А ведь в полдень мадемуазель уже должна нести ему судок!»

«Он так рано обедает?»

«Он не обедает в привычном значении этого слова. Три раза в день ему относят пищу. На рассвете, в полдень и на закате. Но ест он её когда ему вздумается. Или не ест вообще. Три-четыре дня голодания для него обычное дело. Так вот: зайдя на кухню и убедившись, что обед ещё не готов, я посмотрел на часы: было одиннадцать сорок пять. Я выпроводил из кухни дражайшего Николая Ивановича, который обожает изводить наших хозяек своими кулинарными советами. Сегодня он заспорил с мадам по поводу панировки для брокколи – отчего всё дело и застопорилось. Да ещё её превосходительство раскапризничалась – ей ведь только подают отдельно, а готовят то же, что и остальным. Так вот, сегодня ей захотелось айнтопфу».

«Что это?»

«Похлёбка с мясом и картофелем. А мадам хотела готовить луковый суп, так что пришлось повертеться».

«Куда отправился Скляр?»

«На террасу. Я заметил его, когда уходил из кухни через гостиную».

«Хорошо. Где были другие гости?»

«Кто где. Генеральшу и немку я не видел. Тер гремел своими железками наверху, но я его только слышал. Фишер тоже отправился к себе. Лавровы были на террасе: он читал, она снова возилась со своим этюдником. Шубин сидел у окна своей комнаты, мы кивнули друг другу».

«Итак, мадемуазель отправилась в Ротонду...»

«...Где-то в начале первого. Я немного беспокоился, потому что Лев Корнильевич иногда болезненно реагирует на любые отклонения от раз и навсегда заведённого жизненного порядка. Но сегодня всё прошло хорошо, опоздания он не заметил».

«То есть когда мадемуазель принесла Корвину обед, он был в Ротонде?»

«Да. С её слов. Она говорит... ну то есть дала понять, что всё было в порядке. И лестницу она за собой подняла».

Он закурил, не предложив мне, потом спохватился и протянул коробку с папиросами. Я помотал головой. Он продолжал свой рассказ.

«Перед обедом – а обедают у меня, как вы знаете, в час пятнадцать пополудни – я посетил Шубина и её превосходительство. Уделил им минут по двадцать».

«Чисто медицинские вопросы?»

«Абсолютно! К делу они никакого отношения не имеют. Любопытно, что посещая Шубина в его комнате, я сквозь открытое окно видел, как к Лавровым на террасе присоединился Николай Иванович. Потом мы обедали».

«За столом были все?»

«Да, кроме Анны Аркадьевны и её немки, естественно. Все обсуждали вас. Лавров спросил, пожаловался ли я уже полицейскому начальству».

«Вы, кстати, не пожаловались», – я, наконец, улучил подходящий момент, чтобы напомнить Веледницкому об этом.

«Нет, не пожаловался. Давайте будем откровенны, Степан Сергеевич: грозя этому капралу, я, как говорят картёжники, блефовал. Думаю, что если бы русский врач пожаловался в Швейцарии на швейцарскую полицию, об этом написали бы все местные газеты. И вовсе не с заголовками “Отважный доктор восстанавливает справедливость”. Демократия, свободная печать, *droits de l'homme et du citoyen* – всё это только для внутреннего употребления. Иностранец здесь вроде вола – кормить кормят и жить дают, но бить его можно всякому, а попробуй взять пастуха на рога! Вмиг обломают. Лаврову я, впрочем, объяснил по-другому: мол, здесь такие порядки, если к вечеру не вернётся, значит, арестовали. Тогда и шум поднимать можно. Вы, к счастью, вернулись».

Он кажется мне абсолютно естественным, хотя и нервозным – что вполне объяснимо. Крупные капли пота на высоком лбу – действительно, сейчас душновато. Немного бледен, но в целом держится хорошо.

«Вы отправились к Корвину сразу после обеда?»

«Нет, обычно я навещаю его ровно в четыре часа пополудни. После обеда мы с мадемуазель Марин пошли в деревню – мне нужно было к почтмейстеру, он забирает для меня в субботу вечернюю корреспонденцию, в воскресенье же почта не работает, а ей – вернуть мадам Дювернуа одолженные полфунта кофе. Она управилась быстрее меня – пришлось обсудить с почтмейстершей её головные боли – и подождала. Где-то в три с четвертью – или в половине четвёртого – мы вернулись. Я прошёл на террасу. Там играли в лото – генеральша, Лавровы, Фишер и Скляр».

«А Шубин?»

«Принимал там же солнечные ванны».

«Действительно, барометр, кажется, поднимается. А Луиза Фёдоровна? Тер?»

«Немки я не видел. Тер чинил велосипед».

«Какой велосипед?»

«Мой. Один из двух. Я третьего дня налетел на камень и что-то там погнул. Тер попросил у меня велосипед, я предложил ему второй, исправный. Но он вызывался привести в порядок этот».

«А что делала ваша домоправительница?»

«Занималась стиркой на заднем дворе. Сдаётся мне, как убрала со стола после обеда, так туда и переместилась».

«Оттуда, кажется, видна Ротонда?»

«Более или менее. Я понимаю ваш вопрос. Она бы увидела, если бы кто-то подошёл к Ротонде, это точно».

«Но она не видела».

«Совершенно верно. Итак, я прошёл к себе, вымыл руки, взял саквояж и позвал Николая Ивановича – он сделал для Льва Корнильевича несколько новых книжных закладок, довольно красивых, знаете, как сейчас модно – мозаика по бумаге. Но у него что-то там не досохло, и я отправился, не стал дожидаться. Первое, что я увидел, – это опущенную лестницу. Я сначала даже не понял, что произошло, а когда понял, мне стало так страшно, как никогда ещё в моей жизни».

«Вы сразу сказали остальным?»

«Нет. Да в этом и не было никакой нужды».

«Почему?»

«Потому что ровно в ту же минуту, когда я смотрел на Ротонду, пытаюсь собрать воедино разбегавшиеся мысли, меня нагнал Николай Иванович. В руке у него была одна закладка – она успела высохнуть, и он побежал, чтобы догнать меня и передать со мной хотя бы одну. Он ведь обещал Льву Корнильевичу эти закладки, понимаете?»

«И что же?»

«Он тоже увидел опущенную лестницу. И закричал. Страшно закричал. И хотя мы вместе спустились к Ротонде, зашли в неё и убедились, что она пуста, все уже всё узнали. Сперва прибежала мадам, потом мадемуазель, ну а потом...»

«Как давно всё это произошло?»

«Где-то в четверть пятого. Следовательно, почти час назад».

«Хорошо. Не нужно ли мне осмотреть Ротонду?»

«А для чего?»

Я тут же понял свою бестактность. Разумеется, мне предлагалась роль не сыщика – её доктор Веледницкий явно отводил себе. От меня же требовалась только помощь. И я снова сказал «Хорошо».

«Хорошо. Где сейчас гости?»

Веледницкий пожал плечами.

«Вероятно, генеральша у себя, а остальные в гостиной. Во всяком случае, перед вашим приездом диспозиция была такая. А, Николай Иванович сперва остался у Ротонды. Но сейчас, наверное, уже вернулся. Я велел подать всем чая и вина и попросил пока сохранять по возможности спокойствие. Все послушно согласились, кроме немки, которая объявила, что её превосходительству нехорошо. После чего они обе поднялись наверх».

«Тогда я начну с её превосходительства. Должен я ещё что-то знать?»

Веледницкий замялся.

«Пожалуй, да. Дело в том, что...»

«Что?»

«Лев Корнильевич уже исчезал однажды».

«То есть как? Когда?»

«Около года назад. У него был приступ, ужасающий. Он швырнул в меня подсвечником, сжёг несколько книг, пытался сломать лестницу. Я постыдно бежал из Ротонды. А когда пару часов спустя Николай Иванович отважился к нему зайти, Корвина нигде не было. Я забыл поднять лестницу. Мы пережили несколько неприятных часов. А перед самым рассветом прибежал половой из “Берлоги” и сообщил, что папашу Пулена – это хозяин гостиницы – разбудили стуком в двери. То был малыш Жакар, в дом которого, насмерть перепугав его мамашу, и пришёл Лев Корнильевич. Так мы вернули нашего затворника, кстати, тихого и кроткого как овечка. К сожалению, эта история даже попала в газеты, странно, что вы не слыхали».

Получасом позже/

Доктор Веледницкий недооценивает своих постояльцев. Во-первых, послушными их назвать точно было нельзя: в гостиной, куда я заглянул, проходя через холл к лестнице, никого уже не было. Во-вторых, возможно, здесь в пансионе собрались и не самые умные человеческие существа на свете, но сложить два и два каждый из них в состоянии. Я понял это сразу же, как только поднялся к генеральше – я решил начать свою странную карьеру следователя с самого трудного случая.

«Господи, Степан Сергеевич, ну наконец-то!»

Она и впрямь, кажется, искренне рада была меня видеть.

«Что мы тут пережили, что мы пережили! Доктор вам уже всё рассказал?»

«Более или менее. Действительно, претайнственный случай».

Язвительность к ней вернулась мгновенно.

«Действительно, претайнственный. Взяли и убили-с».

«Помилуйте, ваше превосходительство, да с чего взяли, что убили-с?»

«Степан Сергеевич, мне пятьдесят восемь лет. Луизе Фёдоровне сорок четыре. Следовательно, на двоих нам больше ста. Как вы думаете, трудно ли двум дамам с нашим жизненным опытом сообразить, что если такой человек как этот ваш Корвин берёт и вдруг исчезает из самым же им придуманного и сооружённого убежища, то не для того, чтобы завтра кататься по Женевскому озеру на лодочке».

«Он уже исчезал, не так ли?»

«Представления не имею. Луиза Фёдоровна, вы что-нибудь слышали о подобном?»
Экономка кивнула.

«Мне, однако, вы ничего не сказали. Впрочем, всё равно. Уверена, этим должна заняться полиция. Кстати, как вам местная полиция?»

Я постарался быть кратким.

«Что ж, – она задумалась, – это ваш инспектор кажется мне довольно подходящим кандидатом. Он уже здесь? Допрашивает кого-нибудь?»

«Помилуйте, я вообще не уверен, что он в курсе того, что здесь произошло. Он отправился домой к своей матушке, она здесь живёт».

«Странное совпадение. Вы не находите, Луиза Фёдоровна?»

Луиза Фёдоровна снова кивнула – на этот раз величественно.

«Ещё более странно, что доктор Веледницкий до сих пор не вызвал полицию», – сказала генеральша.

«Полагаю, доктор сделает это в ближайшее время. А может быть, уже сделал».

«Он иногда меня удивляет. Например, сразу после того, как вы уехали, я предложила написать моему поверенному в Женеву. Представьте, он принялся горячо меня уговаривать не делать этого».

«А для чего вы хотели писать поверенному?»

Её превосходительство посмотрела на меня как на идиота.

«Я полагала, вам понадобится адвокат. У меня он есть, – и очень хороший».

Я так опешил, что слова благодарности не произнёс – пробормотал. Ни о каком «допросе» немыслимо было и думать. Однако же генеральша помогла мне сама.

«Не стоит благодарности. Я всё равно написала ему. Вернее, пишу. Вот. Только не про вас же – раз вы так скоро вернулись из застенков – а об исчезновении Корвина. Луиза Фёдоровна, голубушка, подайте мне очки».

Три листа, последний был исписан на две трети, как я успел заметить.

«Милостивый государь... Пишу в некоторой спешке, так что прошу великодушно простить за небрежный почерк, начисто переписывать нету ни малейшей возможности...» – ну это опустим. «Сообщаю Вам, что сегодня в нашем пансионе произошло нечто совершенно из ряда вон выходящее...»

В общем, её превосходительство написала своему женевскому мэтру Гобле не просто письмо – это были по сути свидетельские показания, в которых довольно подробно описывался весь сегодняшний день, а главное – что именно и в какое время делали генеральша и её верная компаньонка. В целом всё совпадало с тем, что мне сообщил доктор. Утром обе дамы не выходили из комнаты генеральши: ей немного нездоровилось («вероятно, к перемене погоды») и они вместе разбирали альбом с фотографиями. Обед сегодня мадам не удался – «я просила сварить обыкновенный картофельный суп – заметьте, Степан Сергеевич, не щи и не селянку, не представляю, как можно его испортить». После обеда тем не менее её превосходительству стало лучше и она спустилась вниз – где вся честная компания, пользуясь внезапно выступившим солнцем, увлечённо принялась за лото. Луиза Фёдоровна не играла, но присутствовала при своей хозяйке, которой, правда, неоднократно отсылалась – за пледом, чаем и каплями. Они обе видели мадемуазель Марин с судком в полдень или около того и обе заметили, что

вернулась она от Корвина в хорошем расположении духа. Всё, что впоследствии около четырёх часов пополудни, было изложено столь же подробно.

«Как вы думаете, Степан Сергеевич, мне следует отправить на почту Луизу Фёдоровну или можно доверить конверт хозяйской дочери?»

«Боюсь, мой совет вам не понравится, ваше превосходительство. Я бы вообще его не отправлял – по крайней мере до тех пор, пока доктор не вызовет полицию».

Дверь я прикрыл за собой неплотно и, двинувшись к лестнице, отчётливо слышал, как Луиза Фёдоровна почти кричала на свою хозяйку на ужасающе плохом французском, а вдова генерал-майора свиты Его Императорского Величества ничего не произносила кроме «*Désolé ma chérie, mais il a parfaitement raison*»¹⁴.

/Ещё четвертью часа позже/

Первое, что пришло мне в голову, когда я спустился вниз – вернуться назад. Её превосходительство вполне могла отправлять теперь своё письмо, поскольку инспектор Целебан, с несколько обескураженным видом, но в целом довольно бодрый стоял посредине холла и внимательно осматривался. Он был не один. Обе хозяйки, судя по всему, до смерти перепуганные, молча следили за движениями инспекторской головы. Доктор Веледницкий, засунув пальцы в кармашки жилета и расставив ноги, словно собирался приступить к партии в гольф, стоял – тоже молча – в дверях смотровой. Что же касается Лаврова, то он бесшумно промелькнул мимо меня вверх по лестнице; он был в пальто и шляпе, что довольно недвусмысленно указывало на то, как именно в доме оказался Целебан. Более никого на первом этаже не было.

Итак, о смене профессии мне пока задумываться рано.

Я на секунду задумался, нужно ли мне приветствовать инспектора, коль скоро мы расстались столь недавно, но ничего этого не потребовалось, потому Целебан заговорил сам.

Мне не раз и не два приходилось бывать на допросах. Вели их разные люди и вели по-разному. Ротмистр Сологубов интересовался моей родней до четвёртого колена и случайными знакомыми, записывал каждое моё слово и распорядился принести нам на двоих обед из трактира. Другой ротмистр, в Киеве, не помню его фамилии, был изысканно вежлив, не задавал никаких вопросов, зато всё норовил выпустить мне прямо в лицо дым своей папиросы (я тогда ещё по-настоящему не курил). Судебный следователь Газенкампф, наоборот, топал ногами и рвал листы протокола в клочья, но именно он и отпустил меня тогда, в девятьсот шестом. В общем, манера поведения полицейского никогда ничего не объясняет – так вышло и на этот раз. Инспектор Целебан повёл себя очень странно. А именно, первым делом сказал:

– Останьтесь, господин Маркевич.

Я понял это таким образом, что инспектор либо начнёт опрашивать постояльцев с меня (что, конечно, было бы весьма странным), либо захочет, чтобы я присутствовал на этих беседах (что ещё страннее). Однако все оказалось куда таинственнее: Целебан велел мне никуда не отлучаться из холла, то же самое касалось и обеих Марин. После этого Целебан сделал приглашающий жест Веледницкому и они оба вышли из дома прочь – не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что они направляются в Ротонду.

Разумеется, мало вещей в этом мире заботят меня менее, чем указания полицейского. Подумав с полминуты, я понял, что единственный человек, с которым мне нужно обсудить происходящее, – это Тер. Всё, что я знаю о Тере, говорит в его пользу, даже его безумие. Во всяком случае, рассудил я, ежели даже он и причастен к исчезновению Корвина (хотя совершенно непонятно, для чего ему это нужно), то я это почувствую. Тер всё же для меня – открытая книга.

– Вы куда? – спросила меня мадам Марин в ту же секунду, когда я двинулся было из холла к лестнице.

¹⁴ «Помилуйте, моя дорогая, но он абсолютно прав» (фр.).

Сказать, что я опешил – не сказать ничего, особенно ещё секунду спустя, когда корпулентная наша хозяйка просто преградила собой мне путь. Надо признать, что меня непросто сбить с толку, – но уж если это происходит, то потом мне обычно бывает немного стыдно (а иногда и порядочно).

– Это совершенно не ваше дело, мадам, – я был уверен, что в голосе моём есть и независимость и даже вызов, но на всякий случай я повторил, – совершенно не ваше дело.

Она не шелохнулась, я отчётливо видел немного полинялую красную кружевную оторочку на лифе её платья, дешёвую брошь-скарабея на груди и рыжеватые волоски на полных обнажённых до локтя руках. На лице мадам не было улыбки, и я растерянно обернулся, чтобы увидеть её дочь: мадемуазель стояла, не шелохнувшись, кусая губы, но я понял – стоит матери дать знак и количество моих караульных удвоится. Я покорно приподнял руки и уселся в единственное кресло, схватив лежавшую на столике книгу. Это были «Грёзы и обещания» на немецком – не то чтобы идеальное чтение для подобной минуты, но я раскрыл том посередине и попытался вчитаться. Впрочем, довольно быстро я понял, что гораздо больше внимания уделяю мерному тиканью больших настенных часов, чем книге.

Доктор Веледницкий не вошёл – вплёлся (не знаю, можно ли так сказать). Он был бледен и даже, как показалось, немного пошатывался. Отсутствовал он от силы минут двадцать (я за это время еле осилил две страницы), но, вероятно, инспектор Целебан обладал вампирическим даром высасывать из человека жизненные соки даже за такой короткий промежуток времени. Впрочем, уточнить это не представлялось возможным: инспектора не было, Веледницкий вернулся один.

«Принеси воды», – он почти выкрикнул это и я понял, что просьба относилась к мадемуазель. Та опрометью бросилась в буфетную.

«Он опечатал Ротонду, – прошипел доктор, опустошив стакан. – Дорогая, собери, пожалуйста, всех гостей здесь через тридцать минут». Это уже относилось к мадам, которая, впрочем, подчинилась столь же беспрекословно, как и минутой ранее – дочь.

«Где Целебан?» – спросил я.

«Отправился на почту. Сказал, что вернётся через полчаса и хочет всех видеть».

/Ближе к рассвету/

Прилёг на несколько минут и, разумеется, не уснул. Во-первых, ощущение незавершённого дела оказалось сильнее усталости. Во-вторых, по коридору началось хождение взад-вперёд и судя по тому, что хлопала дверь напротив, Фишер опять не спит – вероятно, маясь желудком. Так или иначе, нужно закончить историю сегодняшнего дня, тем более что осталось совсем немного.

Совершенно неожиданно первыми по зову мадам вниз спустились генеральша и немка. Я подумал даже, что Анна Аркадьевна сидела в полной боевой готовности у дверей своей комнаты, ожидая, пока её позовут. Все остальные явились более-менее одновременно и какое-то время неловко толпились в холле, не зная, что делать и куда себя деть. Но Веледницкий за эти полчаса (он отлучался в свой кабинет, хозяйки тоже исчезли – таким образом, меня никто не караулил, но подниматься к себе мне было лень и я курил на террасе, разглядывая дорогу в надежде первым увидеть Целебана, словно он был неоткрытой землёй, а я – ожидающим награду от капитана марсовым) – Веледницкий за эти полчаса явно оправился и деловито рассадил всех в гостиной.

Молчали все довольно долго, но первый не выдержал, конечно, Николай Иванович.

«Кто же вызвал полицию?»

Я покосился на Лаврова, но тот ничего не сказал. Сkläров, не дождавшись ответа, горестно вздохнул.

«Я вызвала», – вдруг сказала Лаврова и от этого нелепого и жалкого вранья мне стало не по себе – но только на секунду, потому что она поправилась:

«Я попросила мужа сходить в деревню».

«Здесь нет ни полицейского участка, ни пристава, – тихо сказал Скляр. – Откуда тут так быстро появился этот инспектор?»

«Он с господином Маркевичем прибыл, – опередил меня Веледницкий. – Якобы у него здесь мать живёт».

«Действительно, любопытное совпадение, – заметил Тер. – Что же, Борис Георгиевич, вы прямо к матушке его отправились?»

«Не острите, Александр Иванович, Христа ради, – в голосе Лаврова не было ничего кроме раздражения. – Я не успел пройти и половины пути до деревни, как встретил этого господина. На мой вопрос, куда в деревне мне лучше обратиться, чтобы вызвать полицию, он ответил, что идти в деревню не имеет никакого смысла, потому что полиция, дескать, уже здесь».

«Что же, он сам сюда шёл?», – спросил Тер.

«Не имею ни малейшего представления. Я попытался с ним заговорить, чтобы объяснить, в чём дело, но он знаком дал понять, что не желает разговаривать», – ответил Лавров.

«Он собирался ужинать в “Берлоге”», – сказал я.

«Ещё того интереснее, – сказал Тер. – Мать господина инспектора, видимо, не очень жалует сына, раз тому приходится в трактире столоваться».

«Здесь это обычное дело, – возразил Веледницкий. – Огонь в печи разводят утром и готовят только на одну трапезу. У матушки инспектора вполне могло не быть дома горячей пиццы, особенно если она его не ждала сегодня».

Я подумал, что ужин был бы весьма кстати и нам, но все так подавлено молчали, что я не решился встречать со своими низменными интересами. Тем более что в эту минуту отчётливо скрипнуло снаружи колесо и в холл вошёл инспектор Целебан. Рядом с ним семенил Симон, лицо его было как мундир – сероватым. Инспектор снял шляпу и повесил её прямо на оленьи рога, висевшие над галошницей.

«Господа, – он говорил по-французски. – Меня зовут инспектор Целебан, я представляю здешнюю полицию. Это капрал Симон, он мой коллега. Думаю, нет нужды объяснять, по какой причине я тут нахожусь. Дело об исчезновении господина Корвина-Дзигитульского есть дело необычайной важности – и дело совершенно секретное. Секретным будет и расследование. О причинах этого потрудитесь не доискиваться. Я настоятельно прошу вас всех не покидать пансион по крайней мере до завтра. Хотел бы предупредить, что попытка не подчиниться моей просьбе будет иметь для вас крайне неприятные последствия, учитывая в особенности то, что вы все – иностранцы. Впрочем, к мадам и мадемуазель Бушар моя просьба относится в равной степени. Мадам, как я понял, ваша дочь глухонемая?»

«О нет, месье, она немного слышит. И превосходно читает по губам. Но говорить почти не может, бедная козочка». Затем мадам всхлинула.

Целебан кивнул.

«Надеюсь, мадемуазель Бушар поняла меня так же ясно, как и все остальные. Сейчас капрал Симон поговорит с каждым из вас, господа, относительно событий сегодняшнего дня. Не беспокойтесь, это отнимет у вас совсем немного времени. Капрал владеет стенографией. И ещё один вопрос. У кого в доме есть оружие?»

«У меня», – сказал доктор Веледницкий.

«И у меня», – добавил Лавров.

«Потрудитесь принести».

Первым распоряжение исполнил, разумеется, Веледницкий, коль скоро Лаврову нужно было подняться наверх. Он вышел из кабинета, держа в руках то самое короткое ружьё, что украшало его каминную полку. Целебан, не оборачиваясь, отдал его Симону, который передал дальше, кому-то невидимому в дверной проём, – очевидно, кучеру полицейского шарабана. У

Лаврова же оказался револьвер – «веблей-фосбери», очень красивый и совсем новый, судя по блеску. Он перекочевал в карман инспектора. Засим Целебан надел шляпу.

«Господин Веледницкий, – сказал он по-французски, – соблаговолите последовать за мной».

«Куда?» – ошеломлённо спросил доктор.

«В Эгль. Я задерживаю вас до выяснения некоторых обстоятельств, касающихся этого дела».

Десять лет назад, в ночь со 2 на 3 августа 1898 года я, должно быть, спал. Во всяком случае, в то время я ночами предпочитал делать именно это.

* * *

«...Приносить мусаф в первый день месяца тишрей. Приносить мусаф в десятый день месяца тишрей. Приносить мусаф в дни праздника Суккот. Приносить мусаф на восьмой день праздника Суккот... Приносить жертву хатат по правилам. Приносить жертву ашам по правилам. Приносить жертву шламим по правилам. Приносить жертву минха по правилам. Не прощать искуителя. Не спасать искуителя. Не оправдывать искуителя. Не извлекать выгоду из украшений для идола. Не бояться врага во время войны. Не забыть то, что сделали нам потомки Амалека. Не проклинать Имя Всевышнего. Не нарушать слова клятвы. Не клясться напрасно. Не осквернять Имя Бога. Не подниматься на жертвенник по ступеням. Не гасить огонь на жертвеннике.

Не приносить жертвы на золотом жертвеннике.

Не изготавливать масло, подобное маслу для помазания. Не взыскивать долги в седьмой год... Не отказывать в ссуде из-за приближения седьмого года. Не уклоняться от оказания материальной помощи неимущим. Не требовать возврат долга, если известно, что должник не в состоянии его вернуть. Не давать займы под проценты. Не брать в долг под проценты. Запрет судье вершить несправедливый суд. Запрет судье принимать подарки. Запрет судье лицепритствовать одной из сторон. Запрет судье выносить оправдательный приговор из страха перед преступником. Запрет судье выносить приговор из жалости в пользу бедняка...»

Только что облегчившийся Степан Сергеевич Маркевич постоял ещё минуту у двери Товии Фишера, прислушиваясь с размеренному бормотанию бывшего узника Александровского централа, и решительно двинулся к себе в комнату – очень уж длинный день у него получился.

II. Ахиллес и черепаха

16. Круг чтения старшего цензора Мардарьева

Двойник турецкого султана

Турецкий султан, как известно, всегда опасавшийся дворцовой измены, теперь, под влиянием грозных известий о революции в Македонии и конституционном брожении среди младотурок, удвоил свои предосторожности.

Абдул-Гамид каждую ночь меняет спальни и никогда не спит в темной комнате. Он страдает, кроме того, постоянной бессонницей: дольше трех-четырёх часов никогда не удастся ему проспать кряду.

Охрана каждой ночи властителя правоверных обходится в 5000 франков; все лица, составляющие ночную стражу, получают огромные жалованья, исключаяющие всякую мысль о подкупе: их личный интерес связан с долговечностью султана. Кроме того, все они служат не один десяток лет и отличаются испытанной преданностью.

Один из французских журналов уверяет даже, будто во дворце султана содержится постоянно – двойник Абдул-Гамида. Двойник этот проводит свои ночи в комнате, находящейся перед спальнею опасливого монарха. В случае, если бы вспыхнула серьезная революция, Абдул-Гамид, благодаря этой своеобразной предосторожности, успел бы невредимым бежать из Ильдиз-Киоска.

Огонёк. № 29, 2/VIII

* * *

20 июля, Halola

Я очень много читала это время, очень много – запоем. Читала, не видя лиц кругом, с утра до вечера.

Читала Ницше, Достоевского, Штейнера, Безант, Библию, Бальмонта, Сер. Трубецкого и По. И были такие полные, солнечные дни; один день уходил за другим, давая какую-то стройную, сверкающую нить.

Дни, которые я читаю все, может быть, лучшие во мне – потому что я тогда творю то, что я читаю; иногда бывает такой восторг, что оставляешь книгу и закрываешь глаза.

Теперь прошли эти дни, но они вернутся. Так хорошо, точно сама Жизнь смотрит.

Представление о Вас у меня связано с васильками и сапфирами; и Ваши конверты мне будят эти образы. У меня теперь есть в душе много слов, которые я потом скажу Вам, – так хорошо, что Вы есть; если бы Ваши слова умерли в книгах, и если бы я читала их, то в них не было бы запаха каких-то пряных, грустных лесных трав, и я бы не поняла их сердцем. Может быть, Ваши слова и больше Вас, но если бы в них не было Вас, то они не шли бы в сердце.

Я, наверное, очень скоро уеду отсюда – мне хуже делается; я поеду домой, легче станет в комнате с моими вещами. За это лето я почти ничего не сделала из того, что хотела, болезнь мешала мне, но зато многое во мне уяснилось, и лето дало много покоя.

Внешне этой зимой моя жизнь очень изменится, она будет гораздо тяжелее, я буду много работать, а, наверное, это трудно, я раньше никогда много не работала; но я этому тоже рада, я хочу полной усталой зимы.

Вы вернетесь в Россию в Петербург или только будете в нем проездом?

Я хотела бы, чтоб Вы были в Петербурге – так мне нужно, и так будет легко. Знаете – у меня какое-то к Вам мистическое чувство: Вы заставили белого человека показать мне лицо, и вот теперь, когда он ушел надолго, остались Вы.

Может быть, не нужно говорить это? Но думаю, Вы знаете уже это. А Вам не станет трудно от того, что нет «Руси»? Вам больно оставлять Париж? Я бы тогда не хотела.

Мне грустно уходить от этого письма. С Вами – тихо.

Е.

Разные известия

В бумагах Н. А. Римского-Корсакова найдены: дневник, веденный им с 1892 г. и озаглавленный «Летопись моей музыкальной жизни», несколько статей по музыкальным вопросам: о дирижировании – взгляд на оперу; из неудачных музыкальных произведений – фортепианное трио, струнный квартет и др.

Русская музыкальная газета, № 28–29, 20/VII

17. Одна стрела разбивает три барьера

– Я хочу уехать. В конце концов, мне уже значительно лучше – я говорила доктору вчера. Господи, сливки прокисшие!

– А что думает уважаемый Борис Георгиевич?

– Уважаемый Борис Георгиевич придерживается такого же мнения, Николай Иванович. Ни мне, ни моей супруге здесь больше решительно нечего делать. Господи, допрос. Допрос чуть ли не до половины ночи. Нет, я всё понимаю, но...

– Ах, вот оно что! Понимаете, стало быть! Уж не намекаете ли вы, что допускаете, что вчерашний безобразный инцидент с Антонином Васильевичем есть что-то большее, чем недо-разумение?

– Да с чего вы решили, дражайший Николай Иванович?

– А с того-с! Что это вы вызвали сюда эту ищейку, а теперь вам, видите ли, «больше нечего делать»!

– Я уже говорила, что это сделала я, а если уж на то пошло, то эту, как вы выразились, «ищейку» должны были вызвать вы или доктор. Ну а коли почему-то не вызвали...

– Вот ведь напасть с вами... А все потому, что вы не лечитесь сюда приехали-с, нет-с. Что угодно, только не лечитесь. Только даром время Антонина Васильевича тратили.

– Я попрошу вас, Николай Иванович, держать себя в рамках приличий, хотя бы когда вы с Еленой Сергеевной разговариваете.

– Чем же я вашу уважаемую супругу обидел, Борис Георгиевич? Правдой-с? Да только я так воспитан, что правдой никого и никогда обидеть нельзя. Вы ведь сюда на Корвина посмотреть приехали. А больной сказались, чтобы место получить. А теперь Льва Корнильевича повидали... повидали...

– Будет вам, Николай Иванович. Вы ещё тут расплачьтесь на глазах у изумлённой публики.

– Я, Глеб Григорьевич, плакать не буду. Но и делать вид, что ничего не случилось, тоже не приучен. Мыслимо ли – полицию сюда, в пансион!

– Ну, что бы там ни было, да только во всяком случае, это не ваше дело.

– Нет, позвольте-с, Борис Георгиевич, как не моё? Именно что моё. Раз уж Антонина Васильевича здесь нет, то мне придётся взять на себя, так сказать, генеральное руководство.

– Руководство чём? Пансионом? Можэт, вы и лечить нас будете?

– Лечить я вас, разумеется, не буду, Александр Иванович, но и разбежаться не дам-с. Пока всё не прояснится.

– Что за вздор вы несёте, милейший?

– А если даже и вздор, то все равно ничего у вас, к сожалению, не выйдет, господин Лавров. Вы, простите великодушно за любопытство, куда свои паспорта деть изволили? Правильно, доктору отдали, для сохранности. А он их в сейфе держит. А ключ от сейфа – при себе. Господин Маркевич, кажется, один не отдал, не успел.

– Слющайте...

– И слушать ничего не желаю. Вот, например, куда вы, Александр Иванович, прямо с утра сегодня ходили? Ещё мадемуазель не проснулась, а я вас уже на дороге видал, да на обратной.

– Я ходил на почту. Я жду перевода, нужда в дэнгах.

– Пускай на почту, а всё равно ни свет ни заря...

– Это в любом случае не ваше дело.

– Теперь здесь всё моё дело. Паспорты ваши – тоже.

– Борис, мне сейчас будет дурно.

– Ну и что с того, Николай Иванович? Для чего нам здесь паспорта? Их тут и вовсе никто не имеет и чужими не интересуется. Смешно-с. А в Россию мы пока что не собираемся.

– Так когда соберётесь, придётся сюда за ним возвращаться, да в глаза Антонину Васильевичу смотреть.

– Кстати, а где Маркевич?

– Он ещё спит, я полагаю. Я проснулся под утро, у него ещё свет в комнате горел. Читал, вероятно, всю ночь.

– Ну да, от Ротонды как раз его окно прекрасно видно. Вы ведь там ночевали, Николай Иванович? Вскрыли печать полицейскую?

– А если там, Александр Иванович, то вам-то что за дело? Ну и ночевал. Нет, не в Ротонде, под навесом. Холодно, а всё лучше, как по мне. Всё равно не уснул. Страшно мне было в доме. И... и ещё я подумал, что если Лёвушка вернётся, то ему будет приятно, что кто-то его встречает. Луиза Фёдоровна, вы-то куда?

* * *

У каждого человека есть право на небольшие слабости. Были такие слабости и у Георгия Аркадьевича Таланова. С самого детства, с долгих отцовских охот он приучил себя никогда не полагаться на счастливый случай, на внезапное наитие, на лихую, с наскока атаку. Всякое место предполагаемой схватки, будь то лабаз на овсах, кабинет генерал Мезенцова или салон баронессы Иксуль фон Гильденбанд, что на Кирочной, любил Таланов изучить заранее, осмотреться, освоиться. Толк от этого когда бывал, а когда нет, но привычка эта укоренилась и вылилась к тому же в странную манию заглядывать снаружи в окна того дома, в котором Таланову предстояло почему бы то ни было побывать. Однажды это стоило ему сватовства, но унять в себе эту страсть Таланов не мог, как ни старался. Вот и сейчас, прижавшись гороховой своей спиной к неожиданно тёплому камню высокого фундамента «Эрмитажа», всю перебранку в гостиной слышал он от первого до последнего слова.

* * *

– ...я, простите великодушно, не расслышал вашего имени.

– Таланов, Таланов. Георгий Аркадьевич.

– На вакациях изволите находиться?

– В отставке, – радостно сообщил Таланов. – Вчистую в отставке.

– И давно?

– А вот с Фоминой. Ровно двадцать пять лет-с беспорочной службы.

– По военной части служили?

– Какое там, – он даже рукой махнул. – Почти всю жизнь в почтово-телеграфном ведомстве. Чинов, врать не буду, не выслужил, всего лишь коллежский советник. Да вот тётка представилась, царствия ей небесного. Кое-что перепало, решил пожить-с, да и подлечиться заодно. Говорят, в Швейцарии лучшие остеопаты в мире, – и Георгий Аркадьевич правым указательным пальцем ловко погладил понизу свои пышные короткие усы.

«Выправка у него, разумеется, военная. Но он мог, например, кончить корпус, мог и послужить в полку. “Почти всю жизнь”. А если это и не так, то он наверняка может соврать мне, если я спрошу. Мне везде мерещатся жандармы. Надо поговорить с Антонином о дозировке».

(Николай Иванович после утренней перепалки пребывал в расстроенных чувствах, даже кофе не помогал. Компанию ему на террасе составили только Фишер, да неизменный Шубин, который и за завтраком и после оного был крайне насуплен и даже без сигары. От кофе, впрочем, не отказался и, пересекая с чашкой в руке террасу, первым заметил господина средних

лет, мнявшегося около калитки и страшно обрадовавшегося и тому, что Склярков пригласил его войти, и чашке кофе. Некоторую напряжённость, царившую вокруг, незнакомец, казалось, вовсе не замечал и ответом на вопрос о докторе – «В Эгль уехал по делам», Николай Иванович скопил взгляд на Фишера с Шубиным, те не шелохнулись – совершенно удовлетворился).

– Какой чудесный пансион! Как жаль, что я не знал о нем в России. Непременно поселился бы здесь. Воздух-то, воздух какой. А один вид чего стоит. Знали бы вы, куда меня занесло в этом Вер л'Эглиз! Окна выходят на дорогу, вечно стоит пыль от крестьянских телег, гор вроде как и вообще нет, а на завтрак дают печёное яйцо. Как будто из Льгова и не уезжал. Нет, что хотите, надо было останавливаться у вас.

– Доктор бы вас не взял, – сухо сказал Склярков. – У него всего девять коек и все расписаны с прошлой осени. Кроме того, он не остеопат.

– Не верит в исцеление без мышьяка и касторки? – засмеялся Таланов и отчего-то погрозил Николаю Ивановичу пальцем. – Отрицает силы естественные? Когда-то и в хлороформ немногие верили.

– Ну-с, по вашей логике, это вы как раз должны отрицать хлороформ и использовать для анестезирования смесь льда и соли. А отрицает Антонин Васильевич не силы естественные, как вы изволили выразиться, а методы не апробированные, основанные на шатком теоретическом базисе и к тому же требующие неких специальных умений, якобы недоступных простому врачу.

– Кстати, вы сказали «всего девять коек». Однако ж мне кажется, что у вас всего восемь постояльцев сейчас.

– Почему вы так решили?

– А я молочника вашего наблюдал вчера утром, – сказал Таланов неожиданно скучным голосом. – Когда первый раз ваш парадиз увидел. Он вам две корзинки с молоком привёз. Одна полная, десять бутылочек, с белой этикеткой, обычное коровье молоко. Ну, это-с понятно, для кухни, для хозяев и вообще. А во второй бутылочки с синей этикеткой, козье, значит, особенно полезное. Вот их восемь было, два гнезда в корзинке пустые. А?

– Да вы, милостивый государь, Пинкертон, – сказал Фишер.

– Ну-с, пинкертон не пинкертон, однако поместиться в вашем санаториуме расчёт имею, – Таланов опять стал прежним, жизнерадостным и глуповатым на вид.

– И опять я вам говорю: мне очень жаль, но ничего не выйдет, – ответил Склярков. – Мы ждём ещё одного постояльца со дня на день.

* * *

– Как это он считал, не пойму, – сказал Склярков, когда Таланов отошёл на порядочное расстояние. Нумеров-то тут и впрямь девять, да только в одном двое живут, Борис Георгиевич с Еленой Сергеевной, а в другом я – а я не пациент и не постоялец. И козьего молока с детства не переносу. Однако ж козьего и впрямь было восемь бутылочек, я сам видел давеча. Не сходится в бутылочках-то постояльцев считать.

– Ну мало ли, – рассеянно сказал Фишер. Думал он явно о чём-то своём, жевал сухую травинку. – Догадался как-то. Я же говорю – «пинкертон».

– Нам тут только пинкертонов не доставало. Из почтово-телеграфного ведомства. Я когда к Антонину Васильевичу пойду обо всём этом рассказывать, вы уж сопроводите меня, Глеб Григорьевич, чтобы я, стало быть, не позабыл ничего важного. Память стала подводить, знаете ли; годы.

– Да когда ж он вернётся-то, – задумчиво сказал Фишер, не отрывая взгляда от дороги. – И вернётся ли?

Склярков вскочил. Фишеру стало его жаль и он улыбнулся старику.

– Хорошо, хорошо, Николай Иванович. Конечно, я составлю вам компанию.

18. Другое увечье

«Мягкая войлочная шляпа или лёгкая фуражка, которую можно застегнуть под подбородком (лучше всего шёлковая, так как она не пропускает дождя, если её по временам вытирать), мягкий и лёгкий галстук, летний сюртук, лёгкое пальто или плед, который можно нести на руке, толстые панталоны, скорее тёплые, чем очень лёгкие...»

Ничего этого не было у Степана Сергеевича, в чем он ещё раз убедился, разложив на кровати небогатое содержимое своего чемодана. Фуражка, правда, была репсовая и сравнительно новая, впрочем, относительно её водоотталкивающих способностей у Маркевича были обоснованные сомнения. Помимо фуражки на кровати расположился английский пиджак, коротковатый, зато не жавший подмышками, запасная рубашка, галстук – тёмный и мало подходящий к летнему времени, зато с готовым фабричным узлом, кое-какое бельё, вязаная безрукавка. На ней в качестве основного элемента своего сегодняшнего костюма Маркевич и остановился, рассудив, что от сырости в горах он промокнет скорее изнутри, нежели снаружи, а потому дело вовсе не в шёлковой фуражке.

По коридору раза три уже прогремел своими железками Тер.

(Час назад он постучал к Маркевичу.

– Что же, Степан Сергеевич, после вчерашнего вы в горы, наверное не захотите?

– Отчего же. Судя по погоде, шансов увидеть Се-Руж поближе может и вовсе не представится.

– А вам до смерти охота?

– До смерти, Александр Иванович.

– На кой он вам черт? Гора как гора, тут есть и поинтереснее.

Это прозвучало грубовато, но Маркевич не обиделся.

– Я обещал своему учителю фотографический снимок Ормон-Десю с высоты.

– Вы что же, – спросил Тер-Мелкумов, – и фотографический аппарат с собой потащите?

– Несомненно. Впрочем, это не составит никакого труда: у меня карманная камера.

– Какая? «Брауни»? Немного вы ей в горах наснимаете.

– Нет. «Покет Кодак», модель Цэ, новейшая. Шестнадцать унций весу, четырёхдюймовый фокус, катушка плёнок на двенадцать снимков без перезарядки. Все, что нужно.

– И дорого? – Маркевич уловил в голосе Тера что-то вроде интереса.

– Десять долларов по каталогу из Рочестера без пересылки и кожаного футляра.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.